

АРКАДИЙ КУЗЬМИН

Свет мой

ТОМ ВТОРОЙ

12+

Аркадий Кузьмин
Свет мой. Том 2

«ЛитРес: Самиздат»

2016

Кузьмин А. А.

Свет мой. Том 2 / А. А. Кузьмин — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Роман "Свет мой" в четырех томах - это художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, отразившихся в судьбах рядовых героев романа. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941-1945 годы, во время перестройки и разрушения СССР. Они жили, любили, бились с врагом и в блокадном Ленинграде, и в Сталинграде, и в оккупированном Ржеве. В послевоенное время герои романа, в которых - ни в одном - нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и дружили. Пройдя весь XX век, каждый из них задается вопросом о своем предназначении и своей роли в судьбах близких ему людей.

© Кузьмин А. А., 2016

© ЛитРес: Самиздат, 2016

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Павлу Степину, следственно и его семье, как-то везло. Не иначе.

Его словно голенастая удачливость вела себе меж дел, вопреки всему, по качелям велико размахнувшейся войны, доставшей всех, – вела целенаправленно, помогая обходить препятствия. Без вроде бы особых на то усилий и каких-то мистических чудес. Как просто лишь обычное природное явление, и все. Может быть. Природа – вечный двигатель; она – как сказка нераскрытая – пробует и испытывает все, стараясь превзойти и саму себя; она-то избранно все предопределяет в жизни так-то со своей обычной необычностью, идущей с людьми рядышком – вот рукой подать. Но нам не уследить за тем. И хотя мы аукаемся с ней, играем в относительность по совести своей остаточной.

Впрочем, очевидно: все мы на миру, забавно пыхаясь и желая перешеголять друг друга в богатстве и дури, расстраиваем свои города-миллионники и культивируем образ нормального семейного уклада; однако и стихийно вдруг сметаем все это прочь, не желаячи ничего и никого, прем куда-то в диком буйстве. Раз за разом. Стало быть, охотно утверждаемся в силе роковой. Никак не просветляемся в разуме.

И ведь вот находятся поводыри! И ныне они еще есть, что страшно! От них страдает большинство людей.

Нет, Павел как раз не был никаким активистом, он был никем – вольным выходцем из народа, но ни ученым, ни полководцем. Он удержался в жизни особняком и был самим собой, и никем иным – что говорится, ни крапивой, ни васильком, а скорее светлым горьким одуванчиком, растущим везде! На виду.

Им никто не помыкал, не покомандовал по-настоящему. Может, попросту никто не успел.

Ко времени блокирования Ленинграда немецко-финскими войсками Степину исполнилось тридцать три года – возраст по годам, согласимся, вполне солидный; тем не менее он сам уже состоявшийся инженер-практик, в своей душе чувствовал какую-то неспособность или неготовность осмыслить соответственно по-мужски это значение, чтобы уже теперь все думать и делать многозначимей, решительней и серьезней, чем было прежде, подобно всем окружающим мирянам, преисполненным того самого – это характерно выражалось и на их лицах. Павел сравнивал их с собой. Говорил самому себе: «Я, верно, пень-колода. Мне бы еще в белых брюках пофорсить...»

Он, значит, не хотел поступиться желанием любить или не любить то-то и то-то, а главное: он сторонился от каких-то значимых событий, могущих его увлечь, заставить вертеться чертовски, как всех, туда-сюда. Да, рядом с ним не было ведущих и позже, кроме любезных советчиков-попутчиков, – он их напрочь (интуитивно) обходил стороной.

Естественно же: с той поры, как Павел, будучи юношей, сбежал из родительского дома главным образом из-за острой нелюбви ко всякой черной и грязной работе, он отлынивал от нее и потом, и получив университетское образование. А утверждался затем в эпоху своего возмужания, которое никак не заметил в себе, хотя бы в образовавшейся семье за счет кулаков. Особенно много позднее, когда уже инженерил в структурах новообразованного при Хрущеве Совнархоза.

Итак, к сути. Степины, стало быть, вернулись с дачи домой на Кировскую улицу 25 августа 1941 года, а буквально назавтра – 26 августа – наступающие немецкие части перерезали рокадную московскую железную дорогу, тем самым замкнули кольцо блокады вокруг Ленин-

града. В военном союзе с финнами. Финские войска захватили Карельский перешеек и вышли к Ладожскому озеру. Несомненно это союзники согласовали и скоординировали меж собой также свои боевые действия и планы для того, чтобы в конечном счете уморить голодом многомиллионное население города, по численности даже превосходящее население всей Финляндии. Распинаться ныне о миролюбии финских парней тут кощунственно.

И сколь же чудовишно и извращенно это решение бывшего русского генерала Маннергейма таким образом услужить народу Финляндии в альянсе с Гитлером...

Рыльце в пушку, как говорится, и у многих европейцев – их полчища, гонимые нацистами и жадной геройства и поживы, тогда вкупе с немецкими войсками безоглядно пали на безвестных наших полях. Да, считаю уместным напомнить об этом европейцам – ангелам в собственных глазах. Для вящей ясности, по-моему, должно бы по всему периметру наших западных границ установить стелы с вестями о том, сколько «гостей» из какой страны пожаловал к нам с оружием и сколько их погибло. Тут бы и удалцам прибалтам, прислужникам Гитлера, нашлось место: они, защищая свою родину от большевиков, все же плутали в наших областях и расстреливали евреев и русских.

Тем не менее, до сих пор западные журналисты ерничают открыто: надо же, в этой войне Сталин ловко оболванил Черчилля и даже Рузвельта в битве за целостность Европы, боролся за жизненное пространство в ней! Вольно трактуют трагедию и нашу победу, как всего-то игру в поддавки трех вождей-союзников.

II

В заблокированном городе было несладко: сразу ощутимо ухудшились для горожан жизненные условия, включая и рабочие режимы на предприятиях; это все тотчас почувствовали на себе, в том числе и Степин, осознанно стеснившийся в своих эмоциях. Естественно, возникла общая неразбериха во всем. И как-то разом сместились все прежние понятия. Что-то упустилось само собой. Остро ощущалась убыль людей по разным причинам, а особенно – квалифицированных рабочих рук, новаторов производства; кто-то, страхуясь, выехал из города, а кто-то не сумел своевременно вернуться сюда с дальних дач, вследствие чего трагично – уже надолго или навсегда расстался со своими близкими и квартирой. Все ужасно.

В этих тяжелых условиях Степин, как все, к тому же как инженер, отвечавший за доверенный ему участок работы на спецпредприятии «Большевик», где выполнялись военные заказы, следил за сроками, качеством и количеством таких важных изделий. С него был спрос.

Да, огорчительно мало ленинградцев – многие хотели, но не могли – лично сумело временно эвакуироваться куда-то в тыл страны. Для этого, понятно, в наступившие военные дни недоставало выделенных железнодорожных составов и, значит, наличия посадочных мест. Почти невозможно было простым смертным купить или перекупить как-то проездные билеты. На Московском вокзале клубились огромные многочасовые очереди пассажиров. Частично детей из детских домов эвакуировали по программе.

Жители, предвидевшие трагедийное развитие событий, сдавали ненужные вещи в комиссионные магазины и покупали на вырученные деньги воду и то, что им становилось нужно для существования в текущие дни. Приходило понимание момента.

Чрезвычайные события все нарастали и прогрессировали столь стремительно, что уже никто не успевал уследить за ними – все новыми и ужасными – и сориентироваться соответственно нужным образом. Тем более что информация о них подавалась своеобразно, скупно. Так что сам все понимай как хочешь.

В августе же немецкие бомбардировщики разбомбили продовольственные Баадаевские склады. Причем тяжело груженные бомбовозы низко-низко, с хищно-ужасным гулом, наплы-

вали на этот участок территории и превратили ее в черный ад. Враг пытался обречь население города на голод!

На «Большевику» сгорела электростанция. Кто поджег – неизвестно. Неспроста сгорела? А вскоре был разбит трамвайный путь, ведущий в Рыбацкое, поэтому Павел уже пеше преодолевал большое расстояние до завода и обратно от него домой.

Сначала немецкие авиалеты на Ленинград совершались чаще, чем артиллерийские обстрелы; потом, примерно в октябре, уже зачастили и такие обстрелы, каждый, не только взрослые, работал как мог, – сверхурочно. Продовольственные карточки ввели еще до блокады. Получали булки, хлеб. Остатки сушили.

В квартире у Степиных была плита каменная, медная ванна, колонка для нагрева воды; пользовались примусами, коросинками. Был лифт. Подвал в доме был сухой, просторный. Туда, в него, спускались жильцы – и даже оставались в нем с ночевкой – во время бомбежек, особенно ночных.

У Степиных жили сестра Яны – Зина и брат Алеша. Алеша и его маленький сын умерли. Зина выжила. Их мужа – нет. А ее отец и мать погибли. Зина занималась до войны по самолетостроению в Воздушной Академии. Она с мужем получила перед войной назначение (как строитель, причастный к оптической системе) на Украину, в город Проскуров. В качестве инженера-сантехника. Строить там аэродром. Но ни один аэродром не построила. А другая сестра, Даша, тоже жена военного, не жила в Ленинграде (куда иголка, туда и нитка), но муж стажировался в Толмачевской политической Академии. Он получил направление в Пушкин. А во время войны все семьи военных были препровождены на Урал. Переписки с ними сначала не было.

Однажды Степины вместе с другими соседями ходили в Пулково за кочерыжками. Набрали мешки. Но было опасно донельзя: немцы не жалели снарядов – напропалую обстреливали таких добытчиков еды.

Они как-то дожили до февраля-марта 1942 года. Первую декаду ничего из продуктов не давали. А «Дорогу жизни» только-только наладили. Хлеба давали по 250 гр., а ребятам-иждивенцам – по 100 гр.

Отец Павла, бывший армейский снабженец, и теперь работал на фургоне, на котором развозил как экспедитор, хлеб морякам, так подкармливал сыновнюю и дочернюю семьи.

В Рыбацком раз снабжали лошадиным мясом. Взамен папирос.

Эти 250 гр. эрзаца явно не хватало для поддержания жизнеспособности в людях, еще работавших до упора. Наглядно: когда Павел сильно поранил о металл свою руку, так кровь из нее сочилась белая – как сыворотка.

На механическом заводе никакого накопления продовольствия не было. И очевидных работ фактически не имелось: не было сырья и не было заказов. Так заводская администрация разумно стала втягивать еще живых людей в какое-нибудь дело, пусть и пустяковое – лишь бы немного подкармливать таким образом работников. Женщины, впрочем, выживали дольше.

По Неве в блокадную зиму везде были протоптаны дорожки. Павел вот идет и видит: женщина стоит на пути – на дорожке – уже овеена белым снегом. В очередной обстрел он уцелел на улице, а кто-то рядом уже стонет... каждый человек – житель города – теперь вступал в трагическую борьбу со смертью – развязку... разъезжали спецмашины, в них складывали поленья трупов, которые всюду чернели.

В это время в Ленинграде безопаснее можно было ходить лишь посередине улиц, а не по тротуару. Могли наброситься, утащить... и тут, пока добегут, оглянешься, увидишь, – запросто пропадешь. Раз Павел заночевал у приятеля недалеко от завода, да подумал уже в постели: «Зачем я?! Заснешь – сгинешь на тот свет. Ни за что! Ведь никто не знает где ты?» Ушел от него.

III

В марте 1942 года заводская администрация «Большевичка» предложила Степину вместе с семьей и другими работниками выехать в Сталинград. Зима была крепкая на мороз. Лед сковывал Неву. И вот Степины с вещами на санках тащились по Невскому льду до Финляндского вокзала.

Они выбрались из дома 24 марта. Павел весь был опухший от постоянного недосыпания, а Яна очень-очень больна, сильно температурила: температура в теле поднялась до 41 градуса. У нее отказали почки – ацетон в кровь пошел. Павлу помогал везти ее на больших санках ее отец. Он открыто говорил сыну:

– Смотри, Паша, Яна умрет – ведь ты детей потеряешь... – Он не очень-то верил в его способность заботиться.

У них, детишек, ради подстраховки заблаговременно были зашиты во всех карманах написанные на бумажках имена и адреса.

И двое-то суток они проторчали на Финляндском вокзале – железная дорога была донельзя забита, эвакуирующимся никак не давали линию.

После было страшно то, что когда погрузились в кузов полуторки, тогда она с ними, людьми, и вещами плыла по ледяной воде ладожской, качаясь, и чуть ли не опрокидываясь в водную черноту-бездну. Одна из них на виду всех сорвалась и так ушла в глубину, совершенно запросто... Ойкнуть никто не успел!

Пока переправлялись в таком половодье, Толя, сидя в кузове зажатым между мешков с вещами, чуть было не замерз.

Что-то около 2000 или побольше заводчан и членов их семей прибыли в спасительную Кабонну. Им всем выдали продукты, в основном крупы, из которых варили каши на таганках. Причем доброты присказывали наставительно:

– Много не ешьте! Много не ешьте!

После тоже двухсуточного ожидания они погрузились в эшелон, состоявший из вагонов-теплушек (выручалок) и наконец, поползли, поехали вглубь России. И немцы не оставляли их в покое: бомбили поначалу.

А по ночам на остановках, видно, железнодорожники стучали в двери теплушек и громко спрашивали:

– Трупы есть?

И тогда тела умерших, вновь пополнивших скорбный список, спускали из вагонов на землю.

В часы вынужденных стоянок, когда состав загоняли в какой-нибудь тупик, чтобы освободить путь для других эшелонов, его пассажиры, выбравшись из теплушек, жгли костры и из снегозащитных щитов, так как было еще довольно холодно и готовили на этих кострах какую-нибудь еду.

Яна понемногу приходила в себя. Павел держался. Люба, одетая в теплую шубейку, играла в песочницы между шпал. У нее была формочка полумесяцем – подковка как полуулыбка. Странная для военного времени. Была подковка с ручкой маленькой. Ярко зеленая, обливная. И помнила – вспоминала Люба потом (и даже ей снилось это спустя шестьдесят пять лет) ярко-желтый песок, игравший желтизной в лучах весеннего солнца. Совсем одна она играла. Брата Толи рядом с ней не было. И у нее все время возникала мысль, когда она видела лица людей: «Ну, почему все такие хмурые, грустные?»

Их повезли в обход Москвы. Очевидно, они имели такой, страшно несмотровой, непотребный вид, могущий испугать москвичей. Где-то в апреле они наконец прибыли на место назначения – в Сталинград, на тракторный завод.

Встречавшим их, как узналось, было наказано:

– Встретить ленинградцев со всеми почестями!

И точно, их встречали даже с оркестром! А они-то еще еле-еле двигались, были еще живыми... Живые немощи!

Они ехали сюда целый месяц. В дороге умерло почти 500 человек. Никто этого не считал. Было не до счета такого.

Среди встречавших здесь ленинградцев, кстати, оказался и белобрысый их знакомый, тоже ленинградец, талантливый снабженец, попавший сюда на Сталинградский завод ранее. Он с нескрываемой радостью хотел теперь услужить им, своим землякам. Всем им были выданы продовольственные карточки, нужные талоны. Вообще, всех их кормил завод, для всех подготовлено жилье. Кроме того, на местном рынке ленинградцы продавали все, что привезли с собой сюда: одежду, белье, еще какие-нибудь вещи. И за проданное могли купить еще еду.

Степиным выделили для проживания хорошую светлую комнату в новом здании, которая раньше служила чуть ли не баней.

Сталинградский завод располагался вдоль Волги. Он начал производить новую обстрелянную пушку, которую изобрел талантливый конструктор Грабин: она отлично сбивала рядами вражеские самолеты.

IV

Все отдохнули, может, с месяц-полтора, более-менее спокойно. У Любы болели уши. Был отит от простуды.

В конце июня – начале июля 1942 года фронт еще толкся далеко за Калачом. За Доном. Главные потери у наших войск были под Харьковом. Но неожиданно прорвавший оборону немец занял где-то какой-то важнейший для завода разработанный и эксплуатируемый заводом карьер, в котором добывалась особая глина. Для производства кирпича – шамотного, огнеупорного. И стало нужно разведать ближайший старый карьер, чтоб не остановилось производство. Это важное дело поручили Степину, как специалисту-технологу. Хотя он, новичок, еще, как следовало, и паспорт свой не сдал в заводской отдел кадров. Да с него его и не требовали покамест. И он съездил в одно место, и наладили добычу глины в нужном объеме.

Областной отдел народного образования, куда обратилась выздоровевшая Яна, хотевшая учительствовать, дал направление в районный центр Урюпинск, в школу, где освободилось место историка. А между тем, заводское начальство сообщило Степину:

– Нам надобно вывезти из города в безопасное место нескольких жен с детьми. Возьми и своих ребят. Можешь?

– Хорошо, – сказал он, – сделаю так.

Так совпало: с ним, Павлом, три семьи раным-рано выехали вдоль правобережной Волги в направлении Урюпинска, расположенного примерно в 200 км от Сталинграда. Северной.

И Яна с детьми поселилась, как ее определили по обыкновению, в местной школе. Почти сразу же следом заявился дотошный милиционер с проверкой – стал придирчиво выяснять, что за личности такие вселились сюда и что за человек завроно распорядился поместить их прямо в школе.

Очень важно, что здесь учителям регулярно раздавали хлеб и что сочувствующие жители еще делились им с Яной; так что она дальновидно сушила каждый раз оставшиеся его кусочки и так постепенно засушила целый мешок сухарей, которые позже очень выручили ее семью. Яна быстро ко всему тут приспособилась, привыкла, учительствовала себе в удовольствие даже, и было немаловажно, а может быть и самое главное, то, что они – она и дети – сносно кормились, поправили свое здоровье. Хотя тогда как где-то за Доном бились наши бойцы и гибли от немецких пуль, она приехала сюда за тем, чтобы рассказывать школьникам о завоеваниях персов, греков, римлян и даже о Наполеоновских сражениях. Парадокс? Но это была ее сти-

хия – рассказывать о кумирах толпы прошлых лет. Все-таки она и недаром вовсе было водила исторические экскурсии в Ленинграде. Все у нее получалось.

Правда, она за блокадные дни уже от чего-то отвыкла. Например, ее, блокадницу, в Сталинграде поначалу поразили покрашенные женщины. Как и оркестровая музыка. Вещи, ставшие вроде бы ненужными в жизни.

Павел был востребован, как техник – технолог по различным снабженческим делам: если не кирпичи, то нужен был кабель и т.п. Он, бывая в разъездах командировочных, дважды заезжал в Урюпинск и заночевывал в школе у жены.

Однажды же он по-новому должен был отправиться в Воронеж. Опять потребовалась новая партия шамотного кирпича. А тут вдруг немец стал форсированно наступать. Фронт не стабилизировался, как того хотели наши военначальники – не хватало военного опыта и нужного боевого снаряжения; бойцы не смогли, как ни пытались, закрепиться в обороне на определенном рубеже.

Павел позвонил Яне и сообщил ей, что вновь выезжает в Воронеж.

И тут-то возник курьезный момент. В классах урюпинской школы между взволнованных учителей уже расхаживали военные, нагрянувшие сюда, и снимали со стен висевшие учебные карты. Яна накоротке успела уже познакомиться с серьезным остроскулым молоденьким лейтенантом, сообщила ему, откуда она, и он успел потише сказать:

– Постарайтесь отсюда поскорее выбраться.

– Почему?

– Вы же знаете, что немец уже в Воронеже.

– Я не знала... – растерялась она.

И теперь при нем и при всех, разговаривая с мужем, не могла в открытую напрямую сказать ему о том, что Воронеж уже в руках немцев. Просто сказала, повысив голос до приказных ноток:

– Павел слышишь, срочно приезжай сюда и вывези нас отсюда! Мы ждем!

Это было как проявление некой телепатии. Он что-то такое понял. Примчался по-быстрому.

Без лишних разговоров Степиным дали под расписку лошадку с телегой, принадлежавшую отделу народного образования, и Павел, как и в прошлое лето, выезжая с дачи в Ленинград, вывез так же семью из Урюпинска. Он подумал об этом. Столь зрелищно это было. Да только доехали так до какой-то маленькой станции: здесь, разгрузившись, вынужденно сдали лошадку – работягу.

Между тем, навстречу невиданно сплошным потоком шли автомашины – отступали наши части. Только здесь он почувствовал, что такое война. Какое было количество войск.

По счастью, в Сталинград, вернее в том направлении, рулили три грузовые автомашины с каким-то, как выяснилось оригинальным грузом для фронта. КГО значились белые буквы на кабинах грузовиков – значит Комитет Государственной Безопасности направлял сюда ничто иное, как парашюты. Павла и его семью подвезли лишь поближе к Сталинграду, и все. И ему вновь пришлось искать попутку.

Их взял в дребезжавший кузов полуторки один шофер окающий, ехавший вместе с каким-то фронтовым командиром. Тот отрывисто спросил Павла:

– Скажите, а есть ли за Волгой фронт?

– По-моему, нет, – удивился вопросу Павел.

– Ну, тогда мы проиграли, – только произнес офицер, и было у него совершенно аховское состояние, видно, в душе, близкое к неверию в то, что можно еще выстоять в войне с немцами.

Семейство Степиных вновь благополучно вселилось в знакомый сталинградский дом. Но было тревожно. Начались бомбежки.

Яна снова наведалась к чиновникам облроно, попросила дать ей возможность учительствовать дальше, так как нужно было кормиться, и ее направили в поселок Добринку, хлебное место, главным образом – из-за этого.

И она с детьми, приехав сюда (поселок находился менее, чем в 100 километрах от Волги), стала заниматься с отстающими учениками, никуда пока не выехавшими.

V

Часто разъезжая теперь по здешней тыловой округе, живущей в некоем замирании перед тем худшим, что может еще быть, гадая для себя: «Ну, или пан, или пропал», Степин изумлялся работоспособности транспортников – тех рабочих, кто держал весь транспорт в надежности, в постоянной готовности к передвижению. Вот, к примеру, шоферы – занятный народ. Какая-то особая порода людей.

Тому подтверждение состоявшийся разговор с одним из них. В пути.

Уже наvertывался вечер поздний. Как Павла вез в кабине словоохотливый долговязый боец, назвавшийся Масловым и сразу обращавшийся к нему в разговоре на «ты». Он был явно помоложе Павла – и по лучшему настроению, и по живому голосу и к тому же побывалее, как показалось Павлу без всякой предвзятости и зависти.

Маслов предупредил:

– Ты не смотри, что я так гутарю с тобой; мне нужно разговаривать, когда я почти сутки кручу баранку – чтобы не заснуть за ней; можно, знаешь, если один едешь ночью, пустую консервную банку подвесить рядом – чтобы она при езде брнчала и не давала так заснуть.

– А это с тобой бывало? – Павел всегда был не прочь поддержать, встречаясь с людьми, интересный разговор.

– Не бойся, проносило, – сказал Маслов. и чертыхнулся. Забарахлил мотор.

Павел ойкнул произвольно.

– Не бойсь, пронесет, – веселей, или, верней, бодрей сказал опять Маслов. – Все пронесет и проскочим. Мне, может, уже несколько раз смерть грозила быть убитым. Два раза-то точно, не вру.. А я вот еще жив.

– Ты на фронте был? – спросил Павел с интересом.

– Аж за фронтом, приятель. На той стороне Днепра.

– Как так? – не понял Павел.

– Да вначале. В июле сорок первого. Я гнал по проселкам и полям свою полутарку. На всю катушку. Спешил, чтобы успеть до немцев вывезти оставшихся в селе наших солдат. Из-за карусели фронтовой не спал двое суток. У меня голова свинцом налита. Глаза слипались. Руль в руках, поверь, не держался. Я почти ничего уже не соображал. Знал одно – только бы домчаться туда, куда нужно, чтобы спасти людей. Ну, домчался сюда, в знакомое село, где стояла наша санитарная часть (день, или полтора назад), сходу закатил свою полутарку под скрытый знакомый навес, чтобы, знаешь, схоронить ее от «мессеров» и мгновенно же ухнул куда-то в темь. Потом и понял, что заснул так невероятно, вмиг. Сидя за рулем.

– Что ж, бывает, понимаю, – сказал Павел. – От такого напряжения, недосыпания.

– И было-то мне не по себе, – продолжал Маслов. – Давила большая тяжесть. И вроде бы, чуял я, немцы втихую крались ко мне, окружали меня, вот-вот могли схватить... От этого-то знать, я как-то вздрогнул весь. А ноги затекли так, что еле-еле разогнулись. Зато освежело в голове, что-то прояснилось в ней.

Ну, повел я туда-сюда глазами, обошел сарай; что за наваждение – никого из своих не нахожу! Пусто все и в хате окна, двери – настезь. Да никаких жителей не вижу. Лишь какие-то вещички поразбросаны вблизи. Что, уже успели все выехать? Их вывезли? Значит, я с кандачка прорвался сюда один? И стояла такая подозрительная тишина.

Как вдруг услышал (дошло до меня волной): кто-то чудно болтает где-то недалече; побормочет-побормочет – ничего нельзя понять. Похоже на театр. Но нет, мне не чудилось такое! Высунулся я из-за угла амбара – сдуру, знаешь, друг, хотел еще крикнуть на голоса: «Ну что вы ребята, дурачитесь? Мне не до шуток с вами нынче!» И весь обомлел: да это же фрицы ходили так, неподалеку, приглядывались к поживе...

Выходит, что я, простофиля, добровольно выперся на них! О-ох! С одной-то винтовкой... В голове пронеслось: «есть у меня лишь один вариант – погибать, так с музыкой!»

На время дорогу перед санитарной автомашиной перекрыла маршировавшая колонна нашей отступавшей дивизии, и пока пережидали ее, Маслов, опять приговорив:

– Не бойсь, прорвемся, – дорассказывал дальше свой случай.

– Ну еще какое-то время ушло у меня на то, что я бензинчику долил и залил водички в радиатор. Кстати, оказался вблизи пруд. А то была бы мне крышка. Наверняка. Осторожно сполз машиной к низу, повел ее задом; потом так газанул по проселочной – лишь брызги да комья земли полетели в стороны. Погнал ее на всю железку. Плохо, что она, полуторка, была дюже разболтанной – на живую нитку. Громыхала, проклятущая, что несмазанная колесница. Немцы поздно спохватились, а кое-где пришлось их давануть, чтобы пропустили. Но где-то в середине моего поспешного бегства за мной приклеилась танкетка и плевалась снарядами вслед. Здорово лупили они, подлецы! Снаряды рвались со всех сторон и обкладывали меня, как зайца; взрывы слепили мне глаза и ошметки земляные сыпались на машину. Казалось, еще разочек трахнет снаряд – и кончится эта гонка. И я вот так петлял – знаешь, вовек не забуду столь сумасшедшей езды. Езды не по правилам. Только и думал о том, чтобы выдержала все моя ветхая посуда, – в такой-то час не подвела меня... И сыночка двухлетнего помнил...

Вынесла она меня к самому Днепру, к своим. Нельзя сказать, что уж шикарно (все-таки я удирал), но вполне благополучно. С пустяшными, незамеченными в пылу гонки, ранениями в плечо и руку.

И здесь случилось уже новое испытание. Ну да ладно. Поехали!

– А где твоя жена?

– В городке под Костромой.

– Ну, немец туда не доберется, наверное.

– Да конечно же! Выдержим!

VI

Яна на этот раз жила с детьми в хорошем доме у добрых хозяев, готовившихся к предстоящей свадьбе дочери с местным парнем – женихом. И ее увидела, оценила. В эти недели полторы-две, что находились здесь, она успела несколько освоиться и даже торговать – помимо редких занятий с учениками – хлебом для школьных учителей, да удачно выторговывала у местных продавцов–менял растительное масло – в обмен же на носильные тряпки, привезенные из Ленинграда. Количество их в мешках заметно убавлялось.

Шел уже напряженный август. Сюда, к Калачу, пробивались сильные немецкие дивизии; изматывали наши войска, которые что есть мочи сдерживали их на отдельных участках. Открыто – нагло летали везде немецкие бомбовозы и истребители, пикировали с бомбами, обстреливали, по ним никто даже не стрелял. Не видно было наших самолетов. И не слышно оптимистичных фронтовых вестей, а лишь слыша недобрые слухи, мужики стискивали зубы.

Все понимавшая директор школы помогла в том, что Степины выехали из Добринки на полуторке. Военные, взявшие их, велели им, уезжающим, лечь в кузове и не высовываться в пути, на дороге. Безопасности ради.

Когда же подъезжали к Сталинграду, Павел был поражен невиданным скоплением народа в степи голой – народа, уходившего молча на восток.

Да, время трубило.

Участились налеты вражеских бомбардировщиков на город. Вследствие бомбежек горели здания, все трещало, дымило, сыпалось, валилось сверху; того и гляди обрушится что-нибудь на голову, поэтому прохожие уже ходили посреди улиц, а не по тротуарам. Для большей безопасности.

Яна страшилась. Опять они оказались в ловушке.

У Степина было оформлено командировочное удостоверение. И он опять повез свою семью на место новой работы жены и еще две семьи в Щепкин, поселок, что был примерно в ста километрах северней. Поехали ночью.

И надо же: ему сподобилось возвращаться в кузове попутки-полуторке, и с тем же командиром, который недавно, ужаснувшись, сказал ему:

– Ну, тогда мы проиграли!

Но пока они оба были живы!

После сумасшедшего бомбления немцами города в конце августа стало ясно: наступали часы его осады.

Антон Кашин осенью 1942 года прекрасно увидел фотоснимок горевшего Сталинграда на развороте немецкого журнала; сделанный с высоты – очевидно, из немецкого самолета. Он являл собой панораму города над Волгой, и над ним все небо застилал черный султан мрака. Эта картина, как апофеоз достижения немецкой военной мощи, главенствовали в том журнале. В руках с ним сидел на походном стульчике упитанный немецкий унтер-офицер, уплетал бутерброд с колбасой. Было затишье на фронте под Ржевом. И когда малышка Таня подошла к нему и попросила себе кусочек бутерброда, он молча сунул ей в руку этот журнал-забаву. Мол, вот погляди, девчушка...

Перед глазами Павла плавилась, горя, как свечи, 28 цехов его опустевшего огромного завода. И часть других больших заводов тоже полыхала. Директор печально сказал:

– Уезжайте, братцы, куда хотите. Я вам больше не начальник. Не держу никого.

Связи с Щепкиным не было.

Что ж, делать нечего. Павел взял в руку черный чемоданчик и потопал, направляясь к глади Волги, блестящей за кирпичными трубами, всякими заборами, решетками и завалами. Завод-то выстроился хаотично, змейкой по берегу, и следовало пройти по его территории, чтобы выйти к Волге. Как раз начался обстрел, и Павлу пришлось где-то даже падать, чтобы ненароком не зацепили осколки при взрыве, пока он не пролез через невероятные нагромождения к самому берегу плещущей полноводной реки.

Стоящая у берега пузатая баржа беспорядочно загружалась, потопляясь, принимая лезших скопом на нее людей – оказалось, именно заводчан, теперь оставшихся без работы, отпущенных совсем и бегущих на восток спасения ради. На корме ее сновал, явно как распорядитель, знакомый Павлу еще по студенчеству и по нынешним заводским делам армянин, почти друг. Он крикнул тому, кинул на борт к нему свой тощий чемоданчик и как-то сразу вспрыгнул на нее сам. Погрузку вскоре прервали, дабы не было перегруза людьми. И вот баржа тяжело отчалала среди плавающих бревен, досок и других ошметок. Закрутилась в широком речном течении.

А среди отпльвших был и заместитель директора завода, с кем Павлу приходилось общаться. И он-то, понижая голос, к слову сообщил ему неприятную весть о том, что вчера расстреляли на месте мастера Н., бригадирствовавшего над Павлом, как неисправимого ворюгу. Застукали на месте. Н. все тащил со склада. Шагу не мог ступить, чтобы не подумать вождь-ленно: «А что я буду тут иметь». Как что, он предлагал любым встречным и поперечным: «А пойдем-ка – дровишек пожилем». Так пытался втянуть и других в какую-нибудь аферу. «Хорошо, что меня не втянул», – подумал тут Павел.

Когда наконец баржа тупо уткнулась в береговой песок – пристани, как таковой, поблизости не было – все с нее стали спрыгивать прямо в воду и кто куда придется. Здесь каждый уже действовал по собственному усмотрению.

Вскоре Павел налегке добрался до грунтовой дороги. Мешал ему пройти вперед шедший трусой верблюдо. С наездником-калмыком.

– Можно мне пройти? – спросил у него Павел.

– Пожалуйста, – сказал тот. И пропустил.

Он потом подсел в кабину какой-то полуторки. Поехали вверх уже по левобережной Волге.

В одном месте был пункт, где выдавали удостоверения – справки всем бежавшим на восток о том, что предъявитель сего направляется в восточные районы страны.

VII

«А как же мне попасть на тот – западный берег?» – думалось Павлу, пока он продвигался вдоль Волги в попутных автомашинах и не увидел на свое счастье на Волге уже налаженную из понтонов военную переправу. С надеждой он спустился по-быстрому с берега к ней.

– Пропуск давай! – грозно затребовали у него.

Он, лихорадочно суетясь, показал свое бумажное удостоверение и объяснился умоляюще. У него там ребяташки. И его пропустили, махнув рукой.

Щепкин, поселок приличный, лепился на пригорке. В этот вечер Яна несла одну вещь, чтобы по-привычному поменять ее на растительное масло. Выменяв масло, она с ним (в бутылке) поднялась к себе, вернее, к дому. Перед ним же стояла незнакомая женщина. Она сказала ей:

– Извелась ты вся. Поэтому я подгадала на тебя. Не печалься. Твой муж вот-вот будет здесь.

– Что вы! – Яна не могла поверить в такое. – Весь Сталинград полыхает. Остался бы только жив...

– Что вы, доченька! Он уже в дороге. Вот-вот будет. Ждите!

И точно было так, как предсказала женщина.

В Щепкине без проволочек дали Степиным подводу с лошадьё, и на ней они доехали обратно до переправы. А вот как переехали Волгу – Павел уже не мог вспомнить позже, когда о том рассказывал другим.

Они, переправившись через Волгу, затем тряслись в кузове грузовика, везшего свиней. Над свиньями были прилажены доски на бортах, нечто вроде нар, и на этих-то досках они, сидя и лежа, ехали. Так доехали до станции Полласовк, через которую курсировали поезда из Астрахани в Энгельс.

Павел, еще неприлично щеголяя в белых полотняных брюках, уже очень замызганных, обследовав новую местность, выяснил, что в Полласовке имелся (и функционировал) маслозавод; он с дальнейшим любопытством дошел до него, поговорил с его директрисой, деловой дамой, и даже дня три (поскольку еще не было поезда) поработал в охотку на тяжелом прессе, за что получил столь нужную оранжево-желтую бутылку подсолнечного масла. Все же и он был добытчиком для семьи!

И тут ему встретился один интеллигентный молодой человек в очках, который, изучающее взглядевшись в него и представившись, назвался Степаном и спросил без обиняков:

– Вы откуда?

– Да вот... Ждем поезда на Энгельс, – Павел вкратце и понятно объяснился.

Степан живо сказал:

– Вы мне подходите. Поедемте!

– Куда? – удивился Павел сему приглашению.

В эту минуту посреди улицы к ним подошел бдительный милиционер и было скомандовал:

– Пройдемте со мной, молодые люди. Для проверки...

Тут-то Степин вынул из кармана правительственную телеграмму-приказ: «по дороге в Свердловск подбирать нужных для спецработ людей». Милиционер, прочтя телеграмму, отпустил без слов. Но с явным сожалением, что упустил какую-то выгоду.

В тот же день посчастливилось им: Степины и незнакомец Степан сели в непассажирский вагон поезда, шедшего вроде бы по маршруту в Оренбург, и они толком не знали (и никто не мог сказать) куда ехали, поскольку ведь не было прямой дороги в Оренбург; они просто ехали куда подальше от фронта, куда теперь поезд привезет. И поезд повернул на запад – уже на Куйбышев. В нечистом вагоне ехало несколько семей. Одна полноватая женщина, работница волжского завода, молчаливый ее муж с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака. Еще некие женщины. Были и бочонки, крепкие, дубовые с какими-то солениями.

Однако они не доехали и до Куйбышева: на очередной станции состав опять повернул на восток и прополз какое-то расстояние.

Яна заумоляла пересесть на другой поезд, чтобы поехать прямо на Уфу, город, в котором ныне находилась ее сестра и могла быть для нее самой преподавательская работа: если таковой не будет срочно, то им не спастись от голода.

Так и сделали. Степан, поразмыслив, их отпустил.

Затем они доехали до станции Дема. Выгрузились на землю. Ближе никакого прибежища для них не было. Одна дивчина из воинской части, ехавшей эшелоном на запад, сочувственно подкормила их, дав хлеба. До жилья одной домохозяйки, согласившейся их приютить на ночь, тяжело перекидками перекидывали еще порядочное количество вещей в узлах и мешках...

Погода установилась жестко-холодной.

– Холодно, Паша!, – сказала Яна, – вникни, что тебя могут позвать в армию, ведь броня твоя уже недействительна. Давай побыстрее устраивайся куда-нибудь с работой. Харчи нужны всем.

Павел согласился. Все резонно.

Только, к огорчению, сходу ничего путевого не получалось. Как во всем. У нас в стране великой. И везде, наверное.

В образовательском отделе Уфы Яне отказали в трудоустройстве: на учительство (по истории) нет вакантных мест. Все занято. Расписано. И ее сестра эвакуированная уже не проживала в городе. Ее послали, смягчившись после отказа, поехать западней (к Ульяновску) по зигзагообразной железной дороге (проще пешком дойти!) до Туймазы. И Степины доехали сначала до Кинели (что под Куйбышевым), где и разузнали, что в Нижнетроицке есть десятилетка, в ней директствует замечательно эвакуированная ленинградка и пустоует место историка: того взяли на фронт, что здесь также работает промышленное предприятие – леспромхоз.

– Ничего, прорвемся, – сказал тихо Павел. Он нередко теперь вспоминал эти слова Маслова.

– Что ты сказал? – переспросила Яна удивленно, расстроенная.

Добравшись до Туймазы, Яна пришла в исполком. Однако в Туймазы двое суток провалялись. Сначала начальства не было на месте. Потом была какая-то нелепая обструкция, когда Яна предложила свои услуги, умение.

– Зачем же вы сюда приехали? – такой издевательский, не иначе, вопрос мужчины вконец возмутил и оскорбил Яну, которую всюду до сих пор уважали и почитали, как хорошего знающего педагога.

Яна взорвалась – и почти с прежним стойким артистичным запалом, заговорила громко:

– Вы слышите меня? Я есть хочу! Я требую работу! У меня на руках двое ребятишек!

Она была права. Главное, именно она нуждалась в работе, чтобы спасти детей.

На этот крик сбежались женщины, отстранили от дальнейшего разговора, увели своего начальника-мужика.

Исполкомовские сотрудницы, пораскинув свою бухгалтерию (у каждого она своя) послали Яну в сытный колхоз. Мобилизовали мальчишек, сдающих продукты. Те предложили нарвать подсолнухов. Уральцы все понимали: сами-то теперь питались впроголодь.

Председатель колхоза – женщина послала Степиных на постой в избу к старому колхознику. Его жена не вынимала семечки подсолнуха изо рта – непрерывно, как жевательная машинка какая – лузгала и лузгала их. Лишь ночью этого не слышно и не видно было.

Степины в избе улеглись спать вповалку на полу.

На второй день пришел участковый:

– Ваш военный билет. Вы – Степин?

– Как сами Вы видите, – ответил покорно Павел. Но он уже встал в Туймазы на военный учет. Так что все было в порядке в этом отношении. Не придраться к нему.

Непорядок, безусловно, был в том, что Павел еще красовался в перезапачканных всякой дорожной грязью брюках, которые он за неимением времени на то, не успел еще сменить на себе. Хотя ему и самому-то это казалось потешным, особенно в тутошних оседловых местах, в которых уже успело закрепиться за ним определение «дядя в белых штанах».

Через пару дней для Яны пришла бумага, в ней сообщалось, что в Нижнетроицке требуется педагог. И Яну повезли туда на лошадке по разным, но одинаково разбитым грязным, как водится у нас на Руси дорогам. Лошадку председательница выделила, поскольку она устраивала в школу своего малыша (из Туймазы) и еще одного, живущего в колхозе, у нее.

А Павлу пришлось вместе с колхозниками убирать картофель, оставшийся в поле.

VIII

Деревни у татар – как бы дело пробное; их жители еще стыдились работать как колхозники и колхозницы. И еще не приноровились к четкости и слаженности в такой работе на земле.

Павел пришел к директору леспромхоза.

Тот – плотный дремучий мужик, с пронизывающим взглядом, как пан, изображенный на картинке Врубеля, – был действительно крутой по характеру: он всех своих мастеров сдал в солдаты.

– Лес валить можешь? – нетерпеливо спросил он у Павла, который едва представился ему. – А лошадь запрягать можешь? А если она в буран распряжется? Ну, так и быть, беру: ты будешь находкой для меня...

– Почему находкой? – нашелся Павел.

– Да потому... И директор, чуваш, но с русским именем Тимофей Рубчихин, в каком-то расположении к нему образно объяснил, что если бы он увидел, что на кладбище торчат из-под земли чьи-то ноги, то он выдернул бы сам труп наверх и заставил бы его работать – такая надобность была в рабочей силе – была повсюду.

Павел назначен был бригадиром. В леспромхозе работало около 80 человек. Они валили смешанный лес, растущий поблизости, а из него, точнее – из березы вырабатывалась авиафанера, в которой нынче была крайняя необходимость.

Эта справная татарская деревня делилась овражком пополам. Здешняя ребетня зимним днем устроила снежные ухабы на спуске, невидимые сверху. Люба и Толя, катаясь, здесь слетели на детских повальнях вниз – и вот, ляпнувшись на злополучных торосах с лету, ужасно (в кровь) разбились. Копчик сильно ушибли, когда падали. Санки, вдребезги разломавшись, отлетели в сторону. Дети, кое-как придя в себя и охая, и собрав обломки санок, все-таки самостоятельно выбрались, поднялись наверх. И, хотя было морозно, они не сразу пошли обратно в дом,

боясь родительской суровости. Толя испугался за сестренкины ушибы. Он-то был постарше ее. Да не уследил, как нужно. Он не помнил, что было дальше.

Яна же хорошо помнила, что ее в деревне угнетала грязь. Это не могло не угнетать после чистых каменных тротуаров городских, в порядке выстроенных улиц продуманных. Были у нее своеобразные галошики. Она надевала их на носки. Однако ее ноги всегда почему-то были мокрые – как вроде бы в воде.

Степины, оживляясь, завели козу с козлятами и поросенка. Овцы были в доме, в закутке.
– Посмотри за поросенком! – велела Яна Любе.

А тот рылом поддал запор и выскочил за оградку, поддал Любе рылом, и та упала в грязь. Пovyпачкалась вся. И ее же отругали. Поросенка с шумом, спотыкаясь, ловили.

У Любы воспалились глаза – был конъюнктивит. За ночь заплывали гноем глаза – она не могла их разлепить и плакала, жаловалась: «Мамочка, я буду видеть?» Альбуцита или еще каких-нибудь глазных капель не было под рукой. Да к тому же, надо признать, Яна была невежественной даже в медицинских вопросах – в них ей тайн никто не открывал, не учил что-то врачевать.

Мать не засекала, но Люба, кроха, тайком в одном платъице в сорокаградусный мороз бегала к чувашам, куда не пускали ее родители.

Крестьяне носили плетеные лапти, и Люба возила по дороге большой лапоть на веревочке и собирала в него кудельки валявшего сена и кормила им козлят. Также кормила она и кобылу Карюху, умную, с карими глазами, говорящими: «Лучше меня никого на свете нет». С блестящим крупом, она без страха и стопора спускалась с любой горы. Видно, жить хотела. И она из Любиных рук брала губами корм.

Сначала сам Тимофей Рубчихин разъезжал на ней. Вскоре передал ее Павлу.

Павлу выделяли колхозников с лошадьми, с пилами. Березы разрезали, подвозили к Белебею, Туймазы и т.п. Все подчинялись, как и сам бригадир, Окташу – лесопункту (а таких было несколько). Следовало еще грузить лесоповал. Степин получил телефонограмму: «Окташ. Степин, с получением сего организовать погрузку фанеры!» Он брал мешок с продуктами, садился на кобылу, ехал и где-то организовывал ту самую погрузку. Было нелегко. Колхозники, в основном девчонки иногда пищали от невыносимости условий, но дело делали.

Зимой работали со светла до светла. Иногда замерзали. И у татар, известно, святой порядок: хозяин сидел на нарах, а бабы ездили, все терпя.

Вот бросили их, работяг на делянку у «Веселой рощи», что находилась в 5 километрах от Белебея. Делянка – один километр на полтора. «Веселая роща» – это русская деревня. Мужиков в ней мало. Подростки, либо женщины. Инвалиды огрызались. Непросто было подступить к каждому лицу.

Значит, месяца три прошло, как оказались тут, в «Веселой роще». Степин был безграмотный в лесной вырубке. Сказал начальникам:

– Когда вырубим «Веселую рощу», тогда и отчитаемся, сколько какой колхоз вырубил.

– Нет, нужен отчет о том, как организована рубка, через неделю-полторы, – возразили ему. И он смирился, кумекая, как лучше все организовать.

Степин не сопротивлялся. Размышлял.

В окрестных селах бабы да ребятишки – вся его рабочая сила. Ее надо кормить хотя бы дважды в сутки. Одна избенка здесь пустовала, отсвечивала. С печкой кирпичной, остылой, не действующей. С ее давнишним хозяином переговорили, по-ладному договорились; старый кирпич перебрали, перетаскали в кухню – выложили печку в кухне – и так наладили в комнате столовую.

Однажды Рубчихин прислал Степину телеграмму:

– Явись в леспромхоз с документами!

– Ты, оказывается, еще плут! – встретил его Рубчихин с раздражением. – Райвоенкомат сказал мне: «Такой у нас не числится..» Поехали – сам поеду с тобой. Проверю.

И сами военкоматовцы в Туймазы не нашли карточку Степина. Куда-то ее, видно, засушили. Написали новую. А при очередной мобилизации повестку ему послали то ли в Окташ, то ли еще куда-то. А в это время Степин неделями не выезжал из какого-нибудь лесопункта, находясь в двадцати-двадцати пяти километрах от самого леспромхоза. И когда заезжал в военкомат, там его лишь укоряли:

– Ну что ж ты, дорогой, через неделю показался! Уж в другой раз непременно пришлем повестку.

IX

Получалось, что действительно его спасала от несения сейчас военной службы эта отдаленность и разобщенность какая-то определенная. По сути он сам себе – он и подвластный – была как бы сама власть. Так вышло.

Следом и новую лесную делянку нашли. Метчики ее разметили. Построили близ нее маленькую станцию, спецсклад. Но до конца ее вырубки Степин не дождался – нужно стало новую открывать – совсем в другом месте – Кондры, Югазы и т.е. (все татарские названия); нужно было снова собрать работающих, организовать их, кормить, лечить, слышать их. И руководил всем этим все тот же пан Рубчихин, посматривающий на тебя изучающе.

Поэтому Степин частенько бывал у секретаря райкома, украинца, председателя исполкома, когда не обеспечивались хлебом рабочие или были какие-либо неувязки, препоны.. Это было уже весной 1943 года, когда немцев снова погнали на запад, разгромив их под Сталинградом.

А летом Степина назначили директором лесопункта, причалившего к селу Болтай, которое растянулось на 3 километра.

И новым директором леспромхоза стал татарин, поспокойней прежнего. Главным инженером работал заика-еврей. Но пришел и русский замполит, израненный, ершистый, с характером худшим, чем у самого Степина. Они крепко поскандалили между собой.

– Отправить его в армию! – распорядился бывший офицер. – Пусть научится элементарной дисциплине!

Увольняемый не стал перечить. Коса нашла на камень.

С этим настроением он пришел в военкомат.

– Что ж так поздно? – тихо проговорил военком. – Всех уже отправили.. А куда ж тебя.. – И досказал как бы с понятливостью. – Вот в Белебее просят на машзавод толкового старого технолога. Сходи туда, выясни.

– Обязательно! – Степин и не заметил, как после этого отмахал все сорок километров.

Заявился к директору машзавода, умному татарину, с которым он вроде бы был знаком (и тот его знал), и лишь кратко сказал, как доложился:

– Я освободился от леспромхоза. Нужен?

– О-о, нужен! – обрадовался тот, приветствуя. – Еще как! Давай!

Ему сделали бронь – выдали бумагу с красным кантом.

– Как быть с семьей? – спросил он тощего главного инженера.

– А зачем? – парировал тот сразу всерьез. – Тут можешь найти жену.

Оттого ему с директором пришлось договариваться насчет одного свободного грузовика, чтобы перевезти сюда семью.

И он вновь вернулся в Окташ – в военкомат для того, чтобы здесь засвидетельствовали полученную им бронь и больше не множили призывные повестки на него. И майор тут даже повеселел неизвестно отчего:

– Вот теперь хорошо. Давай в Белебей живо! А то люди нам позарез нужны. Головастые..

Перед этим в Окташе Степины занимали некоторое время комнату и кухню в избе, в которой жила хозяйка с сыном-подростком, а затем делили домик наполоам с другой семьей. Отдельно располагался лесопункт. Были баня, магазин в поселке. И свой земельный участок, на котором выращивали овощи.

Был детский сад. Но снежной зимой у Любы разболелись ножки от авитаминоза: у нее от коленок до ступней образовались ранки – короста. Дома она сидела и спала в отдельной кровати. И Яна по утрам носила ее в садик, мешая сугробы, и просила каждый раз нянечек не снимать с нее чулки, а сама уходила в школу, стоявшую в километре отсюда, на занятия с учениками. И Толя сюда ежедневно ходил с тетрадками, с книжками...

В поселке Степины пока жили, обросли целым фермерским хозяйством: у них, были поросенок и коза, капуста и одной только картошки около 40 пудов, что они ввечеру погрузили в прибывший заводской грузовик, в который они и сами погрузились и в котором доехали до Белебея сносно.

В Билибее они частном образом сняли комнату вместе с кухней и коридором. Хозяин ее требовал дрова в уплату. Ежедневно Яна меняла на местном рынке белье на необходимые семье продукты.

Здесь они дожили до конца 1945 года. Директор завода сказал Павлу: дескать, меня не отпускают на Украину и я тебя не отпущу домой, сколько не проси. А главный инженер, зараза партийная, околорайкомовская, вертячая, не преминул лягнуть его, поставив условие:

– Поезжай за металлом, отгрузишь его – отпущу тогда; все равно из тебя хорошего работника не выйдет, ты сам себя знаешь...

Павел, огрызнувшись напоследок, но терпя такую напраслину, поехал за металлом, отгрузил его, а после того аж целые сутки бесцельно просидел на печи у жены начальника железнодорожной станции Осаково (и та ему запомнилась), поджидая прибытия поезда.

Для такого же рода эвакуированных жителей Ленинграда уже действовало придуманное правило: разрешалось вернуться в город лишь тем гражданам, кто имел прежнюю жилую площадь, а кроме того – вызов с места прежнего жительства. Сущее крючкотворство. Поскольку ведь никакой же документальной жактовской выписки при выезде не существовало! Ни у кого!

Сестра Павла работала на Балтийском заводе. Она не выезжала во время блокады никуда, и она сделала и послала вызов Степиным. После него они приехали в город.

А брат его, Василий, который тоже работал в «Красной Баварии» и в 1939 – 1940 годах воевал с финнами, который затем был призван на флот и который участвовал в смертельном рейде кораблей Балтийского флота из Таллина в Крондштат осенью 1941 года, когда он раз пять плавал с тонущих кораблей, спасаясь сам и спасая кого-то. Он позднее погиб в бою где-то под Стрельной или под Пулковом.

Мать не верила в его смерть. Она часто ходила открывать дверь на звонки: все ждала его возвращения. Надеялась. Несколько лет. Все в коммунальной квартире уже свыклись с этим. А потом, когда в 1946 году же, она поняла, что напрасно ждет его, она просто утасла. Умер потом и ее супруг, отец Павла. Произошла, выходит, как отсортница, по чьему-то велению, или выбору. Повезло людям среднего калибра: они выжили!

Х

В своей земляной – под сугробами – берлоге с норами Кашины вдевятиером вместе с Дуней и Славой прожили еще целых полгода, так же как окрест и все семьи, ютящиеся в таких же землянках, – прожили, перенося новые всевозможные лишения и муки, вплоть до сего февральского дня, в каковой близ их берлоги вновь зачернела на снегу фигура краснокожего аспиды Силина, главного полицая. Он поигрывал в руках крученой плеточкой.

Что, какую же корысть снова он принес с собой?

Слышно Силин между тем все выискивал, вынюхивал, кто еще в народе провинился чем-нибудь перед оккупантами; он старался скорыми расправами везде прививать любовь к законному – железному – нацистскому порядку. Обирать-то уже было нечего – провизии не осталось ни у кого. Но ведь на ум порченый, пропитанный ядом предательства, всякое поганое взбрело без задержки. Он не кривлялся, не стоял на одной ноге, а сразу на обеих; он любил еще прикинуться милягой, доброхотом, попечителем мирян.

Злодей без видимой причины, ради профилактики, заглядывал и к Кашиным – случая не пропускал. Не было еще такого.

И вот, естественно, вызванная к Силину из своей землянки Анна, саданувшись на ступеньках скользких, неудобных, прямо вылетела из нее наверх. Душа у нее тотчас ушла в пятки. Не одетая, в накинутом на голове платке, она, как насадка, ринулась к нему, не мешкая, чтобы воздействовать на него, проклятого супостата, могущего отнять у нее детей, – воздействовать беспощадно-обличительным словом либо, если понадобится, ценой собственной жизни. Чувство материнства у нее сейчас было сильнее, значительней всех существующих на свете чувств и неразрывно сливалось с ними.

Поджидая на протоптанной в снегу дорожке, Силин нервно плеточкой поигрывал – всегда, видать, чесались руки у него, чтобы полоснуть кого-нибудь наотмашь.

– Анна, завтра велено собрать всех парней от четырнадцати лет, – буркнул Силин бычливо. – Ты того.... Валерку подготовь. К семи часам утра. И сама явись. Со старшей девкой. Слышишь?! Все! Смотри!..

Оглушило Анну это сообщение. Рассудок разом замутился у нее. Она поняла не все.

– Как?! Зачем Валерия?!.. Куда?.. Это что ж, помилуйте?..

– Парней туда отправляют. – Махнул он плеточкой назад, за малиновые голые кусты вишенника, дрожавшие в заносах, – куда испокон веков закатывалось солнце красное. – В Германию, должно. – Но был словно бы смущен немного. Прежде же за ним этого не замечалось. Не в его обычае. С чего б?..

«Значит, так оно – и впрямь постигло нас, не понаслышке как-нибудь: да еще разъединят фашисты нас друг от друга, будто скот, говорили люди; схватят и по партиям рассортируют всех отдельно – парней, девушек и пожилых с малыми ребятами и стариками, и погонят в неизвестное, да, да», – пронеслось в ее сознании, и она взмолилась, умоляла:

– Вы побойтесь бога, Николай Фомич! Знаете, что все мы – в вашей полной власти... Ведь мы вместе ходим по одной земле – неделимой... Малец пропадет, отлученный от семьи. Сломается...

– Ну, а что же я могу; посуди, Анна, сама: приказ такой. Германский. – Силин головою вертанул, словно бы освобождаясь красной налившейся шеей от тесного воротника тужурки: по-видимому, ему самому претил рассуждающе-убеждающий тон, на какой он опять опустился в разговоре с той, с которой мог он сделать что угодно. – Ты еще и недовольна, мать моя, что я пришел, предупредил тебя заранее! Вот народец пошел!.. Не хухры-мухры...

Сглотнув накатившиеся слезы, Анна, хотя видела определенно, что с несносным языком своим въелась у него в печенках, все же продолжала вразумлять – норовила уж докончить поскорее то, что начала:

– Разве вы не весь сок выжали из нас, задавленных, забитых, обнищавших? У тебя у самого ведь тоже есть семейство: дети кровные, жена хвора, безгласая. Так рассуди по ним ответственно, по-мужски, и снизойди до нас, до наших мольб, пожалуйста!.. – Она и просительно его клянула с целью устыдить, как-нибудь разжалобив; и незаметно для себя в стычке с ним опять с позабывчивостью перекинулась на «ты» – хотела, верно, еще резче выговорить ему все, что накопилось, чтобы до него теперь хоть что-нибудь дошло...

Однако от ее непозволительного напоминания, задевшего за живое, он лишь поморщился, ровно хватанул что кислое, пригоршню большущую, – для него ее острые слова предполагали лишь одно – неоспоримое установление его неискупаемой вины и перед родными также, в доме собственном. Зачем далеко ходить? Не хватало еще этого! Его судили, осуждали местные, тихони даже, те, которых изводил он методично, наслаждаясь их смертельным замешательством! В сердцах повторив, что он ничем сейчас помочь не может – против приказа комендатуры не поперет (будто раньше мог, хотел и смел), он повернулся, да зашлепал прочь. И все.

Анне, и раздетой, стало жарко. Несмотря на то, что февраль колючие усы свои топырил.

Потом уж она про себя отметила неожиданную в Силине смену настроения, что-то означавшую, возможно, – хорошее или плохое, и решила только, что хорошего-то все равно не может быть от фашиствующего немца, пока тот, подлый, на чужом хребте сидит, людьми помыкает. Вместе со своими прихлебателями. Так-то.

Каково-то матери. Отрежь любой палец – больно. Так и это.

Весь остаток этого суетного дня и еще полночи, далеко за полночь, Анна лихорадочно, горя, убиваясь, плача, готовила Валерию все необходимое, чем могла она его снабдить на прощание, чтоб ему, мальчишке, пребывающему где-то там целиком на зимней стуже (в качестве дармовой рабочей силы), совсем одному, вне пределов родительского дома, без родных и близких, без надежного материнского присмотра и заботливой ласки, было тепло, ладно, – готовила покрепче, потеплее одежонку, белье, обувину и кой-что из съестного на дорожку, из тех береженных ограниченных запасов, какие берегла она, таская под бомбежками и обстрелами в узлах, на самый-самый черный день и также шила попрочнее для него заплечный вещевой мешок с ляжками.

Все, оказывается, нужно было приготовить для Валерия. Все – предусмотреть. Начиная от иголки с ниткой. Вроде бы пустяшное. Но не зряшное. Только где что взять теперь? На полочке? Положенное кем-то? На какой? Какой и в помине вовсе нет?

Это уж вторые, значит, проводы заладила – назначила Анне война – тягостно-тяжелые и оскорбительно ужасные: было бы куда ей объяснимее-понятнее (и менее досаднее), если бы сынок ее, еще робкий паренек, самостоятельно еще не ступивший никуда и шагу, уходил, как водится, на защиту своего отечества, а то против воли и желания его силком, в приказном порядке, уводил с собою неприятель. Вот так, стало быть, она вырастила и себе и Родине помощи...

Ее и поэтому, может, трясло. Мелкой дрожью. Снова в ней какой-то нерв – наследственное (от отца) – взвинтился. И коробка черепная вся уже забилась и загромоздилась чем-то деревянным столы, что с расстроенными мыслями в тех дебрях никуда не провернуться и ни протолкнуться было, точь-в-точь как внутри обжитой землянки, точно еще больше сузившейся внезапно. Кошмар этот длился, длился, не кончаясь и не утихая; все перед глазами в скачущую и размытую линию сливалось – даже лица все, знакомые, попадавшие в поле ее зрения.

В неразгибку почти ползая на коленях над обношенным, нищенским тряпьем из которого она пыталась выбрать что получше, в позабывчивости откладывая да перекладывая то одно, то другое, и внаклонку еще после танца у растопленной невысокой печки, не помещавшейся при кладке в высоту, Анна уже до того дохлопоталась, что в полном изнеможении откинулась на свою дощатую, жесткую постель и тотчас затихла так – отключилась будто. Она потом не имела абсолютно никакого представления о том, спала ли она сколько-нибудь после этого, часок какой, или только полежала в глубоком забытии, в одном положении, с замертвевшим взглядом, которым даже и не силилась (по привычке прежних томительных ночей, проведенных здесь) ощупывать над собой давящую густую темь. Но почему-то больше, чем обыкновенно, почему-то обостренной этой ночью она слышала и приставыванье самых маленьких во сне (а некогда она считала, что такое свойственно лишь натерпевшимся всех их большим,

которых донимает тем, что грезится, действительность), и худое, заутробное какое-то завывание непогоды в печной трубе, и забавно-невинное мышинное попискивание (кошка беспробудно грелась на печи). Анна, напрягаясь, проверяла, проверяла себя мысленно, не забыла ли она еще что-то сделать для сыночка, положить ему в мешок. И в испуге замирала временами, в жар опять ее кидало – оттого, что ей казалось, будто она чего-то в этом отношении недоглядела, недоделала, как нужно; помнить сразу помнила, что надо, а что именно, забыла, горькая голова. Как же так?! И ведь взрослая, кажись, ученая по опыту...

«А все-таки, роднуша, погоди, – срываясь, прошептали ее губы. Для себя самой. – Дай-ка поточней в памяти проверю, ладно ли управилась? Уже коснулось старшенького: провожаю... Не кого-нибудь... Если что недогляжу – недогляда не прошу себе ни в жизнь, перемучаюсь потом...» – И по-новому, с отчаянной решимостью она попыталась все же протолкнуться в своей памяти, точно сквозь глухую напластованную толщу древних залежей каких-то с ответвлениями в них проложенных узеньких и низеньких переходов...

Между прочим Анна, хотя донельзя смятенная, своевременно, когда Силин заостребовал Валерия, про себя ж отметила и взвесила: уже солнце повернуло на весну – подогревало слышно, и настолько день подлинел, посветлел (под землей сидишь, будто крот, – ничего не видишь); тепло может быстро источить и половодьем распустить снежный покров – и, как ни крути, не обойтись Валере без хороших резиновых калош. Он без них наплачется. Вся обувка развалилась у него. И стало быть, они очень нужны к тем ношенным, зато прочным, подшитым настоящей, проваренной драгвой валенкам из двух пар, поднесенных на днях тетей Ньюшей, крестной.

Тетя Ньюша издавна подпирала семейство племянницы Анны; подпирала безотлагательной практической помощью, идущей от самого сердца и оказываемой, словно по какому-то очень чувствительному внутреннему барометру, особенно в бедственное для всех время. Тетя Ньюша, как волшебная зеленая палочка-выручалочка, тихо, незаметно, даже стеснительно за то, что она делала, являлась каждый раз с скромным подношением, без всяких родственных наставлений кому-нибудь и со сдержанным проявлением любви, на которую, однако, можно было положиться полностью, и также тихо, неприметно уходила снова. Просто человеком. Кто бескорыстно, незаменимо служил живым звеном Анниного окружения.

Сейчас эти валенки дареные, пусть великоватые немного, чудно выручили Анну: они очень кстати подошли Валере – ему было, значит, в чем идти теперь. Только бы еще калоши раздобыть...

И уже без промедления заторопилась Анна, кое-как петляя в выбелено-пухлых сугробах, промеж внушительных колпаков немецких блиндажей, в безнадежно осевшую подслеповатую избу желтоватого скарёдного Семена Голихина, не считавшегося прежде, до войны, при жизни стольких истинных, стоящих мужиков плоть от плоти, заправским мужиком в деревне, но нынче вполне считающимся таковым.

ХІ

В жизни все так обстоит: когда нету лучшего – благом почитается и что похуже. Нет, не в пример другим, Кашина не собирала, не копила на Семена особенно зла, помня все еще про то, что он, бывши некогда понятым, послушно, даже с ревностным тщанием обыскивал ее дом и двор, стоявшие еще целехонькими; но, по-честному признаться, она его недолюбливала уже век за что-то несовместимое по духу с тем, что должно бы быть, наверное, или, вернее, с тем, чего не должно бы вовсе быть, казалось ей определено. Только если когда сталкивалась она с ним где-нибудь, смотрела на него, как на некое потустороннее явление, и все.

За Семеном прочно закрепилось прозвище «Сено-солома». С царской еще армии приклеилось. Там тогда узналось на учении, что он по всем статьям не гош; так, он ни за что не

мог даже отличить, познать, где лево, а где право, и поэтому не знал, куда нужно под команду повернуть, с какой ноги шагнуть; командиры уже прибегали к помогающему средству – что к одной его ноге привязывали клочок сена, а к другой – клочок соломы, и, когда гоняли, обучая, новобранцев строем, – по-особому ему отдельно командовали: «Сено» и «Солома». Да впустую ж с ним возились отделенные и взводные. Распаялись: «У тебя, болван, наверняка башка одной соломою набита, если не соломенной трухой!» Так за непригодностью к несению военной службы и отчислили его, и он не служил в войсках нигде с тех пор. Значит, открутиться от повинности такой ему чисто удалось. Все навыворот. Кто как. Прешь ты, надрываясь, целый воз, и тебе еще, еще сверху накладывают, с лишком преизбыточным; авось, приятель, вытянешь, не свалишь, не откажешься и не переложешь на кого-то – тебе совесть не позволит, взмучает. А другой живет себе ни шатко и ни валко, в деле не развалится и ничем не утруждается; и его еще нет-нет похваляют все: молодцом живет – умнеющий мужик! Вишь, устроился завидно...

Однако Анна с просьбой теперь сунулась не к Голихину лично. У него в избе прижился этот чудной, сладивший печь Кашиным в землянке, беженец откуда-то, – Аким; он был одинок, чумовой, шизофреник (мало ли, а может, и разыгрывал такого) да мастеровой на редкость; клеил он из автомобильных камер и отменно крепкие калоши – колхозники, гарантировавшие непроницаемость ног в оттепель и сырость, – они плотно, словно влиты, обтягивали валенки и снизу, и с носков и к тому же имели достаточно высокие борта. А для этого Анна прихватила с собой кусок немецкой камеры, где-то высмотренной меньшим сыном, и уговорила Акима выклеить к утру калоши; загодя и рассчиталась с ним картофелинами и ржицей – чем могла – за просимую работу. Даже вроде и Семен уважил: как бы разрешил (он – хозяин дома) – не то ей, не то молчаливому квартиранту своему... И на том спасибо. Гора сразу спала с ее плеч.

А что касается пальто, то оно имелось у Валерия: его сшила Анна еще в заходившем декабре, сшила из тех полубайковых одеял, которыми немецкие солдаты накрывали в стойлах лошадей и которые тайком ребята притащили из окопов (видно, задарма достались немцам). Сейчас она только пристегнула черной ниткой кой-где оторвавшуюся подкладку (свой девичий еще сарафан) и пуговицы. Сын носил большую отцовскую шапку-ушанку, с кроличьим вытершимся мехом, и белье отцовское, ушитое на скорую руку. А Наташа смастерила для него и рукавички – из старой, рваной шубейки – овчинные, что, стало быть, плохо: мокрая погода могла их испортить... Надо б шерстяные – ручной вязки, да не было шерсти и не было также времени, чтобы связать...

И после всего Анна еще долго пекла для него ржаные лепешки и варила еду.

До беспамятства раздумавшись обо всем, она даже не заметила, не уследила, что печь растопилась здорово, запылала, или ветер низовой запыливал в трубу, – ввалился в землянку патруль немецкий, невеликий дранненький солдатишко, костлявый, на лицо зеленый, строго спросил: «Матка, почему огненные искры (Feier) из трубы там в воздух (Luft) сыплются? Ты сигналишь русским самолетам, чтоб они бомбили нас? Сделали нам капут?!»

– Ну, надумал же какого лешего! Вот сообразил! – Анна, не выпуская из рук ухват на уже побуревшей, заполированной ладонями палке, только отклонилась на минутку от жаркой пасти печи – оглянулась на приползшего к ним в подземелье патрульного солдата, разогнула спину, как еще ей позволял потолок-настил. – Разве я способна быть отважной? Нет, камрад, я в героини не гожусь. Это очень страшно. Да и ведь-то не одна я, птица вольная: со мной дети безотлучно, не пускают никуда, руки не развяжешь – вон их сколько, маленьких, полюбуйся-ка, пожалуйста! – И убитым голосом, уже подвсхлипывая, доложила ему до конца: – Вот еду готовлю сыну старшему к утру – завтра его забирает армия германская с собой, забирает от меня, от матери... Ох!

А Наташа то перевела доходчиво. Она за признанного переводчика домашнего была.

– Das ist gut, sehr gut! – завосторгался вдруг патруль пообстреливая всех глазами; просыпаясь в оживлении, сказал: – Да, по почему же matka плачет, фрау грустные? Warum? А сам потихоньку длинным прямым носом шмыгал, не удерживаясь, – все, видать, вынюхивал, чем тут пахло. Дескать, люди, очень хорошо все обстоит, и зачем же пускать слезы понапрасну? Он из этого не понимает ничего.

И, что поразительней всего, он что-то не спешил обратно выкатиться. Пока в тепле отогревался. Теплолюбивое животное. Как то знать, возможно, у него чувство вовсе не испуга – оттого, что в ночное небо искры сыпались из печки, всерьез было истинной причиной, по которой он с предупреждением в столь поздний час поспешил сюда, в землянку к русским, – он с заметной человеческой слабостью принюхивался, втягивая носом воздух, к запахам варимого съестного, доносившимся из печки, где стояли разогревшиеся чугунки, и один – с кониной.

– Нет, для нас все – очень плохо, плохо, – осадил его Анна, раздосадованная его неожиданным появлением и обычными речью завоевателя. – Вы для Гитлера своего воюете, из кожи вон лезете... И если уж Гитлер ваш так хочет воевать, пускай себе и воюет, сколько хочет, сам, один, а других людей не трогает! Понятно вам?

– Ja, Ja... Ferschtein... – Почесал в затылке немец, понявший без перевода сказанное и как будто неожиданно по-новому; глаза остановил и, наверное, забыв про соблазнительные запахи, нагнулся перед выходом, чтобы вон полезть. Как еще полуобернулся медленно и, зыркнув вновь, приказал огонь, огонь поменьше сделать. Приглушить.

Анна дальше мало что соображала: собственная черепушка уже не варила. Кончено. А похоже, что солдатишко затем, понагнувшись резче, с удивительным проворством ухватил Наташу за ноги и потянул остервенело; он увидел с вожделием: валенки на них белели! И на ее вскрик Анна вмиг развернулась и слету так саданула кулаком мародера, что тот только брякнулся об пол, и об угол еще стукнулся, гремя мерзлыми, задубевшими сапогами и оружием, – и не сразу смог подняться на ноги; лишь глазами немо хлупал, все никак не мог прохлупаться. Ой, потеха ж! А когда очухался, – подобрался и живехонько убрался, как побитый пес, с непристойным для себя ворчанием, по-тихому. Без ужасного скандала.

Или то произошло еще в избе, еще стоявшей в целости, нетронутой фашистами, Анна в точности не помнила. Не помнила – и даже не пыталась сейчас вспомнить, где. Не суть важно это. Да ей и простительно: она убивалась по Валерию – лишь помнила о нем, пригожем голубке, своем детеныше. Шутка ли: она его теряла – в руки вражки отдавала! Ее разум не мог с этим примириться.

Что же она чувствовала, что? Не передать того словами.

XII

В последние, наверное, недели три Анна видела: и он, голубок, по-отцовски целеустремленный, гордый и любованный прежде родительской любовью, как никто, но еще не оперенный, совсем незащищенный от напавших невиданных невзгод и уже уставший от всего – от бесчеловечной погоняловки врагом, от мыканья, от невообразимой тесноты, грязи, духоты и постоянного недоедания, – он, вероятно, изнутри предчувствовал еще горшие лишения и тяготы, надвигавшиеся на него ли, на семью ли. Все обваливалось. Потому творилось с ним неладное. И он незаслуженно причинил ей, матери, обидные душевные страдания, несмотря на все ее старания, попытки отвратить его малодушный срыв. Либо это еще при взрослении у него начиналась такая неизбежная ломка характера. Он стал неприятно раздражителен по любому поводу и без повода и даже неуживчив – до запальчивости – в разговоре с близкими, с кем жил, теснился здесь, в землянке; дерзостно он сразу кучу колкостей наговорил безобидной тете Дуне, лишь и она тоже заметила ему, увещевая, что это опасно: поперек убийственно крутых приказов оккупантов, он завел себе карманные немецкие армейские фонарики и даже

выставлялся с ними где попало – и тем самым мог часом только погубить себя, семью, потому как немцы, знай, не помилуют, по головке не погладят за такие вольности.

Валерий объявил ей, что он не желает, чтоб она с сынишкой Славиком объедала их семейство и еще чтоб полноправно в чем-нибудь жучила его, Валерия, и вякала, что годится или не годится ему делать, – он уже не маленький и вполне сам отвечает за себя. Причем Валерий судил категорично, наотрез, выступая уже почти как законный преемник отца и поэтому, считая, видно, что все остальные члены семьи должны просто подчиниться ему, и только. Расступиться перед ним. За ним это слово. И так он устал сильно. А ведь лишний рот – лишние заботы. Чтобы как-то пропитаться, нужно в поте промышленности еду, везде побегать и поползгать; нужно чаще также и молоть какое-то зерно, а больше сушеные картофельные очистки – на шаркающем чугушке (самодельной мельнице, представлявшей, собой два кряжа – один, со сквозным отверстием, лункой, на другом – с наколочеными ребрами в их торцах по радиусу мелким, что квадратные монетки, чугуном от разбитого для этой цели расколовшегося чугушка).

Что за небывальщина? Какой-то дикий, дикий бред! Можно лишь руками развести... Да откуда же взялось все вдруг? От жестокости завоевателей?.. Да, отсюда кровь, ущерб, такой разлад во всем...

И случившееся всех в семье обескуражило и опечалило.

Ведь до этого Анна детей своих учила уважению, беззлобию, доброжелательству к другим и вовсе не делила их, подобно иным матерям, на любимых, не любимых; теми же, считай, неисправимыми детьми еще жили в ее сердце также и ее родные младшие сестрички, кого она еще до своего замужества, считай, сумела вынянчить и воспитать, поднять на ноги. Потому-то сестры читали ее по-любовному, слушались ее и берегли, а она за них волновалась по-былому; потому-то, стало быть, и существовали между ними ясные, доверительно бережные отношения. Вот такими, с этими неистребимыми задатками в себе, они уж выросли. И делам друг друга очень радовались. Каждому какому-то успеху. И как раз напротив, чем трудней им в жизни приходилось – порознь ли, вместе ли, тем определенной Анна уверялась с радостью в исключительной целесообразности того, что некорыстно жило, держалось в их роду, благодаря чему-то, – что она и Дуняша, третья ее сестра, снова были вместе, воедино сведены обе их семьи – вместе-то им было вдвойне крепче, легче, легче все перенести, одолеть и вытерпеть. Особенно – для одинокой, нежно-боязливой Дуняшки, не дождавшейся возвращения со службы сметливо-веселого и широко открытого перед всеми мужа Станислава.

Анна беспокоилась за вторую сестру Машу – та прибилась к мужниным старикам, жившим на хуторе, под Знаменском, на Волге. А первая ее сестра Зоя с сыном-подростком Володей загодя эвакуировалась из Ржева на Урал: там-то была у своих, в неприкосновенности от врага, и за нее теперь душа у Анны болела меньше.

Валерий злоязычной выходкой своей обидел прежде всего мать, – она ли, Анна: ни закладывала также в нем взыскательно, ревниво семена тех положительных эмоций, качеств, увидеть которые еще надеялась впоследствии. Здесь он никакой такой судья, указчик; что ему, глупцу, еще сопленьшу, судить-то несудимое? Разве ж Дуня виновата перед кем-то в том, что случилось и что ей, одиночке, оказавшейся во вражеском окружении, среди городских руин, без средств к существованию, – ей пришлось приклониться к поставленному плечу родному?.. Слава богу, что вышло именно так.

И как же, однако, хорошо получилось вот этим вечером то, что Валерий нечаянно – под влиянием ли близкого расставания со всеми или тихих, ласковых материнских бесед с ним – смягчился: чистосердечно, со слезами на глазах, и, дрожа, как серенький кролик, просил тетю Дуню простить его и не помнить зла на него – он раскаялся в своем дурацком поведении, признал, что был неправ.

Ой, возликовала вновь душа у Анны, прыгая на радостях; возликовала она оттого, что все по-доброму в конце-концов сладилось с сыном, что добро все-таки взяло свое, что он про-

стился по-хорошему, сердцем отойдя, просветленный, и что, значит, вовсе не напрасно мать, любя, и взыскивала, когда нужно, с них, сорванцов, – они были все же понимающие, чувствующие у нее, не дубовые...

ХШ

Когда ранним утром следующего дня, еще затемно, юркий сухозадый мужичонка, староста Вьюнок, старавшийся быть сговорчивым, покладистым, немцы и кормленные полицаи с холодными, надменными физиономиями обошли землянки да избы деревенские и, проверив, согнали взрослых и молодежь от четырнадцати лет в центр деревни, к комендатуре, когда затем гитлеровцы деловито выстроили всех там, на расчищенной от снега улице, как и каждый божий день – при обнаруживании отработкой задарма на великую армию немецкую, и когда начали они отдельно отбирать мужчин, парней, но не трогая покамест женщин, девушек, и тут, вытолкнув, отделили от взбудораженной толпы также и Валерия, вслед за семнадцатилетним Толиком, сыном Поли, Полюшки, когда невзрачно-щуплый немецкий комендантешко стеклянным взглядом проблестел по лицам отобранных и по-птичьи объявил им, что они теперь позарез нужны великой Германии, когда к тем приставили конвой и погнали их в никуда и когда округу огласил сильней взметнувшийся бабий плач и стон, и крики – когда это все случилось, тогда все для Анны как бы стойким туманом застлало и почти уж ничего она не видела перед собой. Лишь светились среди печально остуженных ребячьих лиц бесконечно милые черты родного бледного лица да невыразимо грустные, кричащие глаза Валерия, и все. Глаза его кричали ей: «Что же, мама, ты бездействуешь?! Спаси!..»

И так отчаянно кричали своим матерям глаза всех угоняемых мальчишек.

А как спасти ребят? До околицы и дальше женщины колонну провожали. Словно замагиченная, Анна, вспахивая снег, вползупь продвигалась сбоку, слева, – за идущим сыном попевала; она накрик тоже кричала, но не слышала себя, не слышала, – криком исходила оттого, что нисколько не могла уже помочь ему, себе. Она уже не могла идти самостоятельно, без поддержки, и ее вели под руки Дуня и Наташа, Полюшка, сами все зареванные также, как белуги. Как и в памятно звенящее пустотой июльское воскресенье в 1941-м, когда Анна, убиваясь, провожала на фронт своего Василия, бывшего отца семейства и обстрелянного уже солдата, кто отбухал смолоду семь лет в сражениях первой мировой и гражданской войн, был поранен. Но каково же ей было отдать совсем незащищенно-хрупкого, незакаленного, каким он еще был, шестнадцатилетнего сыночка прямо в лапы озверелой, кровожадной вражины. Вот она наказана! Не смириться с этим ни за что.

Он-то, горемычный, побледнелый, рядом с скисшим Толиком в колонне шел; все крепился он, успокаивал ее с покорной виноватостью. Да внезапно, пересиливши себя, прокричал – не только ей, одной:

– Ну, кончайте выть, кончайте, мам, я говорю! Слушайте... Домой ступайте и готовьтесь к завтрашнему: говорят, и вас погонят послезавтра!.. Себя пожалейте...

Смысл сказанного наконец проник в сознание Анны и ужаснул пронзительной реальностью. В сердце вновь захолонуло невозможно как. Неужели верно – нужно всем им собираться все-таки?! Было-то нешуточное такое: Анна все же разумела мало-мальски, что в ее оставшейся еще немаленькой семье было только двое, двое взрослых, на кого еще можно чуточку рассчитывать, – сама она и Наташа, не учившаяся ныне школьница. Других – мужчин – уже не было.

Днем то подтвердилось точно. В обход известил всех староста Вьюнок. Извольте, уважаемые, знать: назавтра выселение назначено! В приказном порядке...

И вот заново на полный-полный оборот запустили Анна, Дуня, дети все последние силенки: собирали одежду, белье, шили, кроили, выкраивали и штопали, подзаклеивали

калоши, подшивали валенки и мололи прибереженное на самый черный день зерно. И всю-то жаркую, душную ноченьку в подземелье опять Анна пекла пресные лепешки из полученной муки (немцы, расщедрившись ни с того ни с сего, выдали им двадцать с лишним килограммов трофейной, т. е. советской), и из грубо смолотой – одного пропуска – ржи (для того же, чтобы мельче смолоть на чугунке, помол этот следовало б пропустить вторично, снова подсыпая его по горсткам в лунку, для чего уж просто не хватало сил и времени) и затем увязывала по мешочкам травяные (с большой примесью каши, лебеды, крапивы и еще чего-то) сухари и картофельную шелуху, очистки, насыщенные ею впрок за многие покотившиеся под откос дни, насыщенные не по чьей-нибудь благой подсказке, а благодаря лишь безошибочному женскому чутью и исходя из практического, житейского опыта.

XIV

Согнанные нервно-зябнуще толклись, кучась, около комендатуры – тесовой трехконной и подслеповатой чуть избы Смородихи с живучими, алевшими на подоконниках в горшочках и доньне, прелестными трубчатыми геранями, которые словно зазывали из-за окон мимо проходящих, ловя взгляды: «Ну, пожалуйста, входите в дом; входите, просим милости!» И, должно быть, все ретивые немецкие коменданты, какие со дня оккупации менялись здесь скоротечно из-за наступательно-отступательного перемещения войск, проявляли к цветам консервативно-сентиментальную на войне слабость: становились на жилье в Ромашине исключительно лишь к одной Смородихе. Вполне возможно, потому еще, что в избе этой было чисто, а детей не было – всего-навсего две тихо, аккуратно, будто бестелесно жившие сестры. Поэтому немцы их и почти не трогали и не терзали так, как всех жителей. Однако же сейчас, покончив с такою привилегией для них, их тоже выпихнули вон невежливо, – принудили выселяться; неприкаянно и они среди толпы околачивались, с жалостью взирали, вероятно, на свои гераньки, с коими прощались по-ужасному.

Конвульсивно в толпе что-то сдвинулось, сместилось; крайние напористо полезли с санками поближе к серединке, куда со списками приспел чернявый деловой староста Вьюнок, обложенный немцами со сторон и хрипло каркавший.

– Дайте, дайте нам пройти вперед! – Лидка, Зинка, Любка, Дашка Шутовы со своими чадами, с крепкой еще матушкой прорывались скопом, затолкав Анну с Верой. – Что, боитесь сами подойти поближе?.. Так пустите нас!.. Не застите...

– Там не сахар, милые, дают, не гостинчик, – отпустила язвительно Поля. – Что толкаться, лезть позря? Чай, не лошади... – Она точно недолюбливала Шутовых с их взвинченной претензией на нечто, или амбицией, не питала к ним приязнь, расположение и никого из них не выделяла.

Это многочисленное и на редкость какое-то одноликое вместе с тем семейство – безмужная Софья, мать, да ее трое взрослых, тоже незамужних дочек с детишками и двое сыновей – не было исконно ромашинским. Около трех лет назад оно въехало откуда-то в Ромашино, сняв полизбы, на жительство, а не колхозничать (сестры на работу во Ржев бегали до самой оккупации), и с самого начала всем укладом своей жизни, нездешними привычками, претендующими вроде бы на независимость поступков и суждений и, главное, такой некрестьянской и чуждой чертой какого-то животного всеядства вызывало у окружающих людей если не чувство иронического осуждения или недоумения, то, по меньшей мере, удивленное любопытство. Всех коробили необыкновенная легкость, с какой младшие сестры фривольно-легкомысленно вели себя в общении с гитлеровцами, с которыми крутили напоказ любовь, стараясь в ней преуспеть побольше, и это даже после того как летом сорок второго они похоронили десятилетнего Витю и восемнадцатилетнюю Симу.

– Встанем тут, где нам хочется и все видно; нам ведь не заказано, где встать, – место общее. – Кривила губы Любка. Они, Шутовы, в центр выперлись. Запаясничали по-былому: – А то ничего не видно и не то на задворках, на сугробах... Красота!

– Это не театр ведь, – урезонивала Поля. – Надо ж понимание иметь.

– Не у тебя спросясь... Мы-то знаем... Грамотны...

Стали выкликать и тасовать народ. Заработала немецкая машина. Мотор запустили.

Дошла очередь, кликнули и Аннину фамилию, значившуюся где-то в середине списка, подготовленного кем-то, каким-то злыднем; Анна встрепенулась с горечью («было видно: нечего надеяться – здесь не позабыли нас»), позвала с собой своих детей и сестру, и они с обыкновенностью теперешней добавились к составляемой колонне, только с небольшой заминкой – на мгновение отвлекся и отстал Антон, и поэтому пришлось подождать его, тогда как почему-то все торопили Кашиных, словно все спешили на пожар. Дело ж объяснялось тем, что Антон в темной людской гуще деревенских увидал, загоревшись, однолетку Гальку Роцину, с которой некогда учился в одних школьных классах, увидал ее здесь вместе с матерью, и, сорвавшись, бочком подкатился к ней и незаметно всунул в руку ей лепешку, отчего она по-взрослому смутилась и сказала ему что-то, будто оправдательное что.

Анна не стала журить ласково Антона, хоть и хотела пожурить за то, что отвлекался он, но не то, чтобы она так побоялась чувствами расслабиться и расчувствоваться больше, – это могло, могло быть у ней. А видения иные, заслоняя маловажное, путали все представления о действительности. Очень ей не по себе вдруг стало, как попал под глаза Михаил Михайлович, бывший предпоследний колхозный председатель, жалуемый прежде даже дружбой ее мужа Василия, – он тоже вроде хороводился в глупой старостиной свите, помогал перелопачивать и отправлять людей; он мелькнул перед нею, такой смиренный, с приниженным взглядом, говорящим каждому потайно, почти умоляюще, чтобы все поняли: «Пожалейте, нас заставили... все-таки семья...»

Как меняется все в образцовых и принципиальных прежде деятелях!.. И откуда катит зло, – запросто накатывается? Из каких выходит – вылезает тайников?

– Jeder Mad hat seine Plag – каждый день имеет свои бедствия, – сказал, а переводчик перевел, когда жителей построили, подравняли вышагнувший недоросший комендант с маленьким вальтером на ремне, да, офицер не ослепительного вида, – он лишь тускло отливал под непрозрачным небом, точно та пустая консервная банка, что валялась в снегу под его ногами, и которую он брезгливо пнул. Шел уже 1943-й год, – война непредвиденно затянулась, и он, верно, нимало поумневший, кадровый офицер, уже ни в какой штурмовой успех на Востоке – успех для себя и для Германии – не верил; но поскольку еще обходила круг совершавшаяся история, постольку и он еще механически – безропотно офицерствовал в прифронтной полосе и даже отдавал всякие будничные комендантские распоряжения. Он сказал, что немецкое командование заботится о населении – и так как приблизился фронт, всех переселяют, чтобы вывезти потом в Германию. И посоветовал побегу в пути не устраивать. За это полагается расстрел.

– Spaben, aber nicht uber die Maben (шутить можно, но не чрезмерно).

Все совсем затихли, приунывшие.

Тут-то быстро подошла к Анне крестная, тетя Нюша, постоянная благодетельница, и, вытащив из-за пазухи теплый шерстяной платок, повязала на голову семилетней Веры, поверх другого платка.

По команде стронулись, пошли. Заскрипел под ногами и санками сплошной, плотный, вязущийся снег.

– Ну, сердешные, айда, – изуверы подгоняют нас, норовят огреть прикладом; пожелаем себе возвращения скорейшего, счастливого: ведь без нашей Родины – какая жизнь для нас? Кому она нужна? К чему собственно жить? – взволнованно, в слезах залпом выговорила близстоявшим Поля, сноровисто впрягаясь в салазки. Она точно выразила свое отношение к происходящему и тем самым, давно взяв себя – по душевной, видать, потребности – столь ответственную общественную роль, приободрила, может, маловверных, слабых, сникших: «Бог даст, выкрутимся как-нибудь. Не горюйте. Свет, я думаю, еще не оскудел людьми добрыми, сердечными. Люди милостивы.» И размашисто пошла-потянула за собой салазки, как бы намеренно становясь в людском потоке впереди семейства Кашиных, возглавляя эту группу, или прикрывая ее от чего-то непредвиденного, на правах сильной и отчаянно-смелой личности, уже побывавшей дважды под расстрелом у немецкой солдатни.

Полей неспроста восхищались Анна, ее дети. Отнюдь! В эти самые сумрачные, крутые дни они признательно привязались к ней и опирались на ее каждодневную практическую помощь и такие верные советы. Да, ей словно передалось с избытком от сводного брата Василия Кашина бескорыстие и бесстрашность в своих поступках, идущих от сердца, а главное, уверенность в нужности другим того, что она делала стихийно, само собой. С неодолимой жадной жизни, честной, справедливой и возвышенной. В ней, необыкновенной женщине, бывшей единоличнице, лучшие, можно сказать, героические качества раскрылись теперь, в трагическое время, с особенной, ей присущей силой. Видно было, что она и не думала ни о чем таком; она все делала так, как считала нужным делать или же, верней, необходимым сделать неотложно, и это у нее получалось. Она как будто жила отныне неизмеримо более важным смыслом морально. Это было ее насущной потребностью. И хотя сварливо-брюзжащая мать ее, Степанида Фоминична, и сын Толик, безотцовщина, неслух, требовали от нее для себя всех благ, она будто на крыльях летала всюду...

XVI

«Господи, а я-то что и где?! Что же так иду?! Где мои ребята все?» – окатил Анну горячий испуг; ей почему-то показалось, что прошла уж вечность целая с тех пор, как ею снова завладели мысли отвлеченные, негожие, и она в пути могла столь нелепо, непростительно – только из-за этого растерять своих. Но дети по-прежнему было около нее, все, кроме, разумеется, Валеры. Анна помнила, увидела опять. Ее глаза, обежавши круг, опять возвратились к Наташе, волокущей вместе с Антоном санки.

Втайне Анна возрадовалась, что она опять нашла дочь свою. Одна время Наташа, сдружилась особенно с этой двоюродной сестрой Ирой (постарше себя), начала погуливать, вследствие чего и начала даже пропускать уроки в льняном техникуме, скрывать во всем и помаленьку, но заметно отчуждаться от родителей, семьи. Отец обстоятельно, без горячки, беседовал с ней; попытался от также убедить и Иру, дабы она тоже одумалась и не ждала момента, когда ее отчислят с курса, вслед за лишением стипендии, – она еще успеет нагуляться вволю... Теперь Анна с Наташей как-то очень кровно сблизилась, вдвоем даже пели иногда напевные мелодии и тонко чувствовала одна другую, что благодатно отражалось на всей домашней атмосфере. Никто не был в стороне от этого.

Подшмыгивала носом Дуня, таща санки с сыном; но, кашляя, она непритворно улыбалась чему-то, раскрасневшаяся на морозе:

– Ой, послушайте: по-моему, я где-то уже простудилась. Заложило грудь.

– Типун тебе на язык, ты не говори, – встревожено сказала Анна, пересиливая ветра гул, но и вновь порадовалась ее плохо скрываемой радости, наступившей после ее замирения с Валерой. – Простужаться нам никак нельзя, нельзя сейчас – говорила так, словно это целиком зависело от их желаний – только стоило захотеть...

– Давай, мам, садись на краешек – прокатим с ветерком под горку, – солидно предложил ей одиннадцатилетний бутус Саша, подталкивавший сзади санки палкой – для того, чтобы не нагибаться. – Ты малость отдохнешь так. Мы справимся, честное слово, – садись!

– Деточка моя, а я не хочу, я не хочу, еще не устала идти, – отнекивалась Анна, занятая новой вереницей мыслей под холодное гудение пурги.

А на душе у ней все теплело понемногу: да, вот уже сами дети, в чьей помощи не только делом, но и участливостью она нуждалась, нуждалась ничуть не меньше, чем они нуждались в ней, матери, – уже дети вместе с нею думали и прикидывали, как им лучше поступить, – здраво рассуждать их тоже научили обстоятельства неладные. Не улепетнешь куда-нибудь вскачь – галопом.

– Тогда ты подсядь, Верочка! – скомандовал уже Антон. Ему доходил четырнадцатый год. На нем была такая же, как и на матери, ее ноская старинная шуба, от которой он лишь махнул ножницами полы, укоротив ее для себя – по своему росточку. И выглядел он в ней вполне уверенно. Главное, шуба грела его, защищая от пробивного холода – до оврага подвезем. Там подъем – и ты соскочишь. Садись!

Верочка не стала ждать еще особого предложения – и, радостно просияв, с помощью Саши подседа на задок безостановочно катившихся санок. Обняла сидевшую впереди, лицом назад, укутанную в байковых одеялах четырехлетнюю сестричку Танечку, бело припорашиваемую надоедливым мелким снегом:

– Ну ты как, еще жива, мышонок? Дышишь? – начала с ней совершенно взрослый разговор, какой обычно ведут искушенные и оптимистично настроенные собеседники. – Поглядела б на себя – ты чистая Акулька, вот кто ты... Лишь блестят глазенки, как у мышки серенькой. До того закутанная.

И Танечка ей слабо отвечала в тон, вроде бы храбрясь:

– Живая я еще. Только чуть устали мои лучки, мои ножки. Ой! Я не могу... Болят.

– Что, замерзли, может? Ты пошевели-ка ими. Ну, попробуй.

– Плововала, видишь... Шевелить-то некуда, и все. Ой! Ой!

– Потерпи маленько, Танечка, – успокаивала ее Вера, целовала. – Что поделаешь, моя родная. Вон и Славик тоже едет за тобой – он совсем маленький еще; тетя Дуня везет его на маленьких саночках – привязанным тоже. А за ними Кирилл на руках несет тетя Марья. Два-то годика ему. Не пойдешь сейчас самостоятельно. Это ж не катанье с горки, ты-то понимаешь?

– Понимаю. А мы на санках покатаемся? Потом... Ты обещала.

– Ну, конечно, покатаемся, попрыгаем, как все кончится и прогонят фашистов, мышонок мой!

– Ладно, тогда я потерплю маленько. Ой!

«Бедные ж вы птенчики мои, чем помочь вам? – Даже прошептала Анна; слышавшая этот детский щебет. У нее размеренный ход отлаживался, и она часть своего внимания отдавала и ходьбе, норовя не сбиться, не попасть в более рыхлый, свежий, неутоптаный и не осевший снег, пахший будто огурцами. – Танюшка привязана, как надоумила нас Поля (чтоб ее не выронить, не потерять в возможной суতোлке, гонке), и еще обложена несколькими узелками, – ей точно некуда подвинуть стынущие и немеющие ножки; узелки не скинешь на дорогу: тут и все наше добро семейное, береженое с трудом – особо с ним и так не разбежишься... Немцы с вермахтским порядочком – что хочу, то и ворочу – все быстрехонько везде подчистили и подлизали; они прямо из-под рук тащили-вырывали, ничем не гнушаясь и не трогаясь ни в каких соображениях над тем, как же после вандализма этого могут еще жить-перебиваться русские. Как же могут, если они, мало этого, еще зачали и пытки, и убийства – в комплексе и порознь, и вообще как хочешь, смотря по их настроению? А настроение у них беспеременное – одно: проехать по всем нам от мала до велика колесами зверской, безрассудной войны и ни за что и ни про что втоптать нас, русских, вживе, в нашу ж собственную землю. А ведь их бы,

нелюдей, ополоснуть в подобные мучения – ведь они подошли бы в однозимье начисто. И до веснушки-красы не дотянули бы. Кто ж, действительно, может вынести такое? Видно, только русские – мы. Но, должно быть, еще тяжелей теперь приходится бойцам, всем тем, которые непосредственно воюют и дерутся там, на фронте, ради нас, если еще не убиты все, – нашим дорогим защитникам, фронтовикам. Им, конечно ж, тяжелее, что там, господа; им сначала помощи – тогда выдюжим и мы. Да и каково теперь, не представляю, всем паренькам зацапанным: Валере, Толе и другим... Малец сцапанный, в когтях, – кругом один... Он был к учению способен, с инженерной жилкой, и отец ему большое место в жизни прочил... Кем бы стал... Впрочем, все ребята у меня способные такие, нравственные; разве только меньший, Саша, выкрутасничал – сладу никакого не было с ним. При отце-то строгом...»

Так все незаметно лезло и накатывалось на ум Анны.

В перемещательном движении людской колонны все было однообразно. И погода не менялась оттого, что пробрызнул день. Небо не было голубым. А снег тем не менее точно светился весь изнутри нежнейшим голубовато-синим свечением, наполнявшим воздух, что создавало необычайную иллюзию пространства, его глубины и там, где ничего похожего вовсе не было. В холодной пелене беснующе-упругого пространства, калившего лица, безостановочно качались, двигаясь колонной, взгорбленные и взбеленные плечи, спины выселяемых; порой тупорылые немецкие автомашины, обдавая газом, и темные узкие фургоны оттесняли их в кювет, набитый сыпуче уплотнившимся снегом с характерным ровным блеском. Однако малопомалу ходьба на расчищенном и накатанном большаке разогрела кровь; оттого, наверное, Анна капельку взбодрилась и – хоть слабо, все же обнадежилась той верой, что и это должно ими превозмочь. Полюшка права: многое уже хлебнули – и покамест выжили, не окачурились... Даже вроде отступилась от нее, – Анна вслушалась, – да, отступилась от нее заунывная, вихрившаяся и было досаждавшая ей, музыка метельная. Но, возможно, Анна и взбодрилась потому, что им предстояло вскорости, она подумала, пройти деревню Медведево, в которой она, вероятно, сможет получить, расспросив кого-нибудь, какую-нибудь весть о сыне, – она теперь думала о нем больше и первее, чем о муже своем. Может, они как раз следуют за ним – где-нибудь сойдутся-скрестятся их пути, надеялась она.

Ей уж рисовалось зримо то, как они в Медведево входили, под деревьевые своды, и как высыпали к ним из полузаколоченных из навестревоженные бабы, старики; набожно те крестились, ближе подходя, чтоб узнать:

– Откель вы, горемычные? Чьи ж вы будете?

– Мы – ромашинские.

– Из Ромашино?! Ей-ей! Значит, наша очередь теперь за вами: тоже заоблавят, заскребут и нас...

– Они всех повыгоняют. Приготовьтесь в этом заранее.

– Двумя днями раньше тоже гнали – дальних...

– А вчера не погоняли мальцев наших?

– Родненькие, видели мы, чай: провели мальчонков, мужичков. Это – ваши, стало быть?

– Слышишь, Полюшка?..

– Чувствую...

– Мужчинки, те будто б сторонились ребятишек – как бы они, недоросли, не были для них обузой.

– Верно, схоже. Мужички-то – сами себе отставные – больно берегут себя. А куда же их погнали, вы не знаете? Мы ведь матери ихние..

– Нет, простите, милые; не сказал никто, сердешные.

«Да, не зря я думаю, что он там, кругом один, без товарищей...» – почти вслух проговорила себе Анна.

И опять усилился в ее ушах вой ветряной. Он усилился вместе с напряженным гулом телеграфных проводов – они, выселенцы, только что миновали знакомо полосатый перекрещенный столб и шлагбаум переезда с темно-зелеными снегозащитными елями и коричневатой железнодорожной будкой. Все было тут порушено, повержено.

И опять, Анну озадачили Саша и Антон своим загадочным полунамеком – переговором на ходу. Что такое они скрывали от нее наверняка?

Вот они-то, вопреки всему, было видно, не кручинились от этой участи своей, а по-веселому старались только умно экономить силушки. Так, на спуске они снова посадили Верочку на санки, взяв ее от Анны и отстороня Наташу, сами встали на полозья и поскольку все спускались почти бегом, не удерживаясь на наклоне, – так и съехали на санках своим ходом вниз. Чем очень довольны были: потешались оттого, что придумана будто бы игра.

Но Антон, разом посерьезнев перед новым – большим – спуском, опять начал:

– Саш, а то, что здесь... ты не забыл, надеюсь?

Саша, память напрягший, спросил:

– Подскажи-ка мне, что?

– Ты не помнишь разве?!

– Ни-и, нипочем.

– Ах, постой; я спутал, извини: в этот раз, это ведь, мы были без тебя... Да, извини меня...

– А кто был? Когда?

– Ну, Валерка, Толька, я – втроем. На лошадке нашей. На Гнедой.

– И что было? – пытал брат настойчиво. – Хоть намекни. Бляха медная...

– То же самое, что началось уже везде. Разве тебе не понятно?

– А-а-а... Поймал!

– Вон Наташа лучше про все скажет...

– Нет, и я сам представляю хорошо... Не будем...

А Наташа в это время молчаливо тянула санки за веревку, не встревала в их разговор. Тем сильнее пугалась чего-то Анна:

– Где Валера был, Антон? Вы о чем, скажите мне, прошу... Все-таки я – ваша мать...

И Антон вроде бы не уклонился от ее вопроса, но ее заверил, что они не станут больше ее беспокоить; он проговорил затем почти по-взрослому, как и подобало сыну, ставшему в семье за старшего по мужской-то линии:

– Мам, ты не волнуйся понапрасну, право; просто я же говорил: мы толкуем о своих делах давнишних, ты поверь. – И нацелил зорко пристальные глаз на то бесприметное, сглаженное белой насыпью, и одновременно жуткой место у развился, чуть пониже ее...

XVII

Точно: втроем они – Толик и ссорившиеся с ним все чаще и между тем, несмотря на всю непримиримость, неразлучные с ним (по нужде и обстоятельствам) Валера и Антон – по октябрьскому мягко заснеженному первопутку (благо и пока еще колхозная Гнедая принадлежала и, стало быть, могла служить им в хозяйстве) приехали на розвальнях сюда, в лесок, за дровами. Чтобы выжить в немецкой оккупации, нужно было начинать с чего-то жить, хотя все окружающее, вместе с самим воздухом, казалось, стало уж совсем иным, чем прежде, – будто бы насмешливым, обманчивым, заведомо призрачным; хотя с прежней красочностью никли к земле пучки увядшей травы и кусты под снежным налетом, а над сонно стывшим перелеском сказочно вились, опускаясь, новые снежные пушинки; хотя умная с запалом лошадь по-прежнему легко катила их и широкие полозья дровней, оставляя за собой блестящие полозницы, приятно шелестели по твердому снегу; хотя всем им нравилось так ехать, полусидя на охапке подстеленной соломы и понукая изредка лошадку.

Неисправимый Толик (для него все было трин-трава, хоть кол на голове его тещи), кинув окурок, разглагольствовал самонадеянно:

– Эх, пожить бы так годков, может, двадцать!...

– Ну, и что бы ты сделал? – с неприязненностью зацепил его тут Антон.

– Что? Многое: кой-что моя первейшая мечта – шикарный дом отгрохать, огородить его со всех сторон, чтобы не было к нему подступа ни для кого, и ворота поставить, да такие, чтобы, знаешь, можно было прямо к самому дому подъезжать на автомашине.

Братья Антон и Валера засмеялись.

Дудки! Сивый бред! Можешь не надеяться на это – скоро немцев все-таки турнут, турнут отсюда в зад коленкой!

– Черта с два!

– Да-да!

– Они – с могучей техникой; отлажена она у них на ять; они только потому и прут безостановочно, если знать хотите..

– Ну, еще посмотрим...

– А с Гнедой, я говорю, жить нам можно преотлично. Не тужить... Ну, вы поглядите ж, сколько мы дровишек наложили в дровни... Для себя же... Сами будем пользоваться этим, а не кто-нибудь еще... Фантастика...

Да и смолк Толя вдруг – оттого, что на подъеме проходившего стороной большака, за прореженной лесной комой, за железной дорогой, еще не действовавшей, зафырчал мотор автомашины и что она, выбеленная, малозаметная, взобравшись, тотчас резко стала почему-то. Приблизительно с километр белое расстояние отделяло ребят от машины, снежок легкий крапал, и сквозь тонкие штрихи ветвей было смутно видно, что из нее механически повыскочили живчики – тонкие темные фигурки немцев!

Незамедлительно затем раздались хлопки-выстрелы: бах! бах! бах! Но с чего бы вдруг? И там, вдали, будто кто-то споткнулся и упал. Или это показалось только?

Жуть взяла...

А назавтра братья, уже проезжая на дровнях мимо этой-то развилки с большаком, с содроганьем увидели, что на приснеженной горке лежал навзничь почернелый, закостенелый труп в знакомой шинели серой. Подняты колени, точно боец этот (пленный или окруженец) еще делал последнюю попытку подняться навстречу смерти; и отвесно к глухо затянутому небу поставлены грузные обнаженные руки с крепко сжатыми кулаками – выходило, он, и мертвый, слал проклятье вторгшимся убийцам.

Анне никак не понравился ответ среднего сына, определенно уклонившегося от какого-нибудь объяснения ей того, о чем они, он и Саша, уже дважды заводили странный – с недоумовками – разговор между собой; она оставила в себе надежду все же выяснить у них поласковой, что то означало, чтобы ей решить, нужно ль вмешиваться, рассудить все по-своему. Покрикивать на них, ребят, с тем, чтобы держать их, что называется в узде послушания, ей совсем не нужно было, нет, они и сами с полуслова понимали все, слушались ее с бесспорным, чистым, детским почитанием. Равно как, или больше, почитали и отца. У родителей они не росли ослушниками, не были разболтаны – этим дорожили. Прилаживались, чтоб нести ответственность.

Еще ладно, радовалась Анна, что поныне хоть она, одна родительница, была вместе с ними, детьми, и что они не потерялись, как бывает, друг от друга, – вместе-то начетней как-никак все вынесли, если, конечно, суждено им будет вынести, несмотря ни на что. И суть даже не в том, разумеется, что их посемейно, обступая, выгонял куда-то конвой уж немолодых – тотальных – немецких солдат, в кепках и что конвойные еще покрикивали, подгоняя, пытаясь еще нагнать страх на людей, а в том, что это выселение казалось всем страшней всего-всего; этого еще никто-никто не видел, не знал и не испытал подлинным образом. Одно знала Анна

верно: многие из них, зацапанных в неволюшку, могли скорей поверить в гибель самых близких, родных людей, чем поверить в то, чтобы быть выселенными с Родины в какую-то постылую неметчину, и скорей уж могли погибнуть сами – от рук ли карателей, под советскими ли бомбами, снарядами, чем расстаться навек с домом, где родились, жили столько.

На новом дорожном спуске братья Кашины вновь, приладившись на полозья санок, покатились стоя вниз; по наклону сами скатились, управляемые, – к вящему неудовольствию шагавших спереди; из-за боязни быть подбитыми сзади передние невольно озирались, торопливо сторонились, пропуская, вследствие чего сбивались с взятого темпа хода, а потому и забранились на легкомысленных затейников катания. И были, конечно же, правы. Это скатыванье всем мешало все-таки.

– Анна, поуйми веселеньких своих – распустились шибко, ишь! – засипев, красно выголился весь тоже указующий ныне Семен Голихин, кто, помнится еще, умолильней других кликунов на последнем колхозном собрании, когда уже все работы в колхозе свернулись, упрашивал ее поставить именно ее самых исполнительных, смирных и надежных ребят на пастьбу коров... С грустью она поуняла сейчас естественную ребячью прыткость – также потому, чтобы Антон, Саша и Вера, бегая, не запарились, не простудились ненароком.

Но, по той же справедливости, несчастье резче обнажало суть в шагавших на каторгу взрослых людях, порою косных, неисправимых ни при каких чрезвычайных обстоятельствах, даже и несносно противных, ворчливых по сущим пустякам. Да, люди в общем-то редко повышались. Хотя б в великодушии. На костер, наверное, пойдут такими кочерыжками. Только их не беспокойной ничем, не тревожьте ради бога. На большое – чуть приподняться над обыденщиной, привычками – часто духа у них не хватает, либо нет ума, не светит он. Заневолен. Или бережется для чего-то. Эгоистично.

А потом большак, мало защищаемый от ветра перелеском – вырубком, на протяжении, может, верст двух-трех неуклонно повышался, и, так как усиливалась непогода и ветер напористей, напевая и гудя, наскакивал и бил метелью шаг за шагом и стало тяжелей тянуть еще с собой и за собой малых и какой ни есть необходимый скарб.

Тем настойчивее занимала и поддерживала Анну неотвязная дума о том, чтобы в деревне Медведево, через которую их, по-видимому, пропихнут, не прозевать и порасспросить тамошних старожил о Валере и Толе – куда тех погнали дальше. Такое неотложное желание, как оно явилось, несло ее над заносною дорогой.

Однако, неожиданно колонна, почему-то взял левой Медведево, повернула на старый, вовсе заметенный тракт – сюда, в не проездную целину, втерехалась.

Наносы наглухо прижали все следы; кругом только выла и гудела разноголосо метель, швыряясь встречь колючим снегом; он, пересыпаясь, что песок, шуршал сухо. По забучим заносам люди брели почти вслепую, плохо видя, лишь угадывая друг друга; брели все вывоженные в снегу – с головы до пят. Да, нелегко было пробиваться по такому зимнему бездорожью. А тащить навьюченные санки становилось совсем жарко, тяжеленько. И вот не щадящая никого метель выла, подвывала, танцуя, а детки, привязанные сидячими к санкам, – Танечка и Славик, и другие у кого, – тоже подвывали все сильнее, все жалостней из этой метельной белой карусели: ножки болят, ручки болят. Не понимали они, конечно, того, что мерзли без движения, хотя и были закутаны в одеяла. И Верочка, которую Анна тащила за руку, тоже плакала: уже замучалась, устала очень, бедненькая. Снег был сыпуч – беда.

– Ну, потерпи еще немножко, потерпи же, девочка, – говорила Анна ей. – Надо себя пересилить. Как во время той болезни – тифа, помнишь? Ведь очухалась!... Помнишь?

– А-а-а... – тоненько пропищала Верочка, – я помню: ко мне песня про Катюшу припоявилась; и я все пела в тифу: «Расцветали яблони и груши». А ты ругала меня: «У-у, нелюбязь! Уймись! Глаза мои не глядели бы...» – И засмеялась.

– Думала: прискочат шелудивые черти... пела-то ты как в трубу на демонстрации. На всякую беду страху не напасешься. – Анна так заотчаялась из-за того, что обошли стороной Медведево, и сама тащилась еле-еле, как больная. Кроме усталости, сказывалось еще и систематическое недоедание: она все сэкономила из еды на себе – сэкономила ради здоровья детей. И внушала себе теперь: «Как споткнешься, так не встанешь, ни за что не встанешь уж».

Такова была действительность, от нее-то никуда не спрячешься. И не уйдешь. Не подсунешь за себя кого-нибудь другого, если бы кто и хотел подсунуться.

XVIII

– О, если б он только видел эти мытарства...

– Кто, мамуленька? – Наташа обернулась, отозвалась.

– Кто?! Отец ваш, доченька. Может, вправду, он уже погиб... Сложил голову... И напрасно я лелею мечту увидеть его... Что везде твориться. Болит мое сердце. – На Анну опять нашла меланхолия, ее угнетало происходящее.

– Мама, не пророчь, не хнычь, пожалуйста, заранее, – оборвала дочь.

– Ну, как ты можешь, мам, так говорить! – возмутился и Антон – поражаюсь я...

– Я, сынок, могу... Я теперь все могу... – Анна всхлипнула разок-другой: накатило на нее.

Известно, уже многие лишились жизни. И лишились ее в том числе по вине предателей. Непонятно только, кем же Силин был – пребывал теперь при них, выселенцах? (Он попал ей на глаза). В каком чине-звании? Полицаем отставным? Вроде бы повеселел, сейчас он даже – был не очень каменно-сумрачным. Да, погибли уже многие, а он вот живехонек, радешенек, он, кто зарабатывал себе перед врагом чужой кровью это призрачное призвание, которое ему набредилось: «Ты ведь господин, не так ли?» Ничего ему не делается. Как же так?! Бог терпелив?! Или еще воздаст, воздаст должное и ему за все его клятвопреступные труды? Анна почему-то сильно сомневалась в этом.

Она, всхлипывая, полезла рукой в наружный карман шубы, стала доставать носовой платок – просто платяной доскуток; и тут нечаянно выронила из него знакомо исписанный тетрадный листок, сложенный угольничком натрое. Ветер подхватил, покатило листок по гладкой горбылине поля. И она, оставив Верочку, опрометью накинулась из колонны ловить его. Все случилось в мгновение ока. Всполошились все. Ай-ай!

– Halt! Zuzuck! – Конвойный, оглянувшись туда, сорвал с плеч карабин и успел выстрелить. Но он выстрелил уже после того как Анна упала, опрокинутая ветровым порывом.

Антон и тетя Поля одновременно рванулись в нему, крича отчаянно:

– Halt! Dort-papiz! papiz! Документы! – И Поля его чуть не разорвала в гневе.

Что-то он сообразил – и, изменив первоначальное решение, опустил свою послушную игрушку:

– Ynt! Komm her! (Хорошо. Иди сюда!)

Антон сразу не помня себя, подкатился к матери, поднял ее. Затем изловил трепещущий листок, зацепившийся за устойчивый в снежном плену, ершистый и дрожащий куст поповника, противостоявшего наскоку ветра и снега. И сказал, введя ее опять в колонну:

– Что же, мамушка, пугаешь нас? Под пули сунулась? Тебя не зацепило, я надеюсь?

– Оплошала, оплошала, дети, я, голова садовая – и с виноватой улыбкой прижимала к груди, как бесценную драгоценность, пойманный листок. – Последнее отцовское письмо с фронта... Страшно потерять...

Письмо от мужа было для нее словно охранной грамотой – для нее и ее детей.

– Подальше убери! Во внутренний карман.

И все, помаленьку отходя, над ней смилостивились. Хорошо, что обошлось.

Опять прозвучало:

– Рус, Schnell! – угрожающе, скрипуче.

Надо было, ясно, поторапливаться. Не давать чертям никакого повода...

С обеих сторон возник сизый Медведевский лес, величественно теснивший зимнюю дорогу. Иные медно-желто-красные стволы сосен, прикрепленных посиненным снежком, были в обхват толщиной. И здесь, вблизи большака, на самом виду, на крепком нижнем суку одной из них висел повешенный – молодой забродевший мужчина в гражданской одежде и без шапки – с болтавшейся на груди в ширину плеч фанеркой с черной надписью о том, что это казнен партизан.

Немецкие оккупанты были прославленными мастерами по части подобного умиротворительства советского населения; в изуверствах они могли любому – каждому дать сто очков вперед. Никому не уступали. Всюду они злодействовали. А в прилесье лютовали еще больше: чаще жгли деревни, расстреливали и вешали жителей – за связь с партизанами, сочувствие им, саботаж и многое еще. И оттого всем выселенцам было очень худо, худо на душе. Это зрелище казненного настолько удручающе подействовало на женщин, что, хотя внезапно стало легче идти, некое нервное движение разом охватило идущих и словно пригнуло их еще ниже.

Все матери собою торопливо укрывали маленьких, чтобы те не видели повешенного, не пугались.

Вера снова вскарабкалась на санки. Наташа обернулась на нее сердито. Не согнала.

Большак все глубже, глубже запетлял поворотами в восхитительно пахшем смолой и хвоей и резко-неприятно конским пометом лесу, от которого, однако, веяло тревожностью вместе в его шумливостью и терзаньем при непогоде. Нынче повсюду хозяйничала немчура ненасытная.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Это продолжалось так, еще продолжалось, значит, в явной жизни. Ой! За порогом дома, как в угон теперь повально стар и млад погнажи, все в глазах еще темней колыхалось и качалось вместе с вязким шагом; было очень зыбко, совсем безнадежно как-то, потому что это было изувечней всего прежнего, что, только натужась неимоверно, вынесли покамест. Вот оно! Под совсем негодными нектати – очень вялыми – ногами снег скользил, хрустел, податливый, тяжелый, один бесконечный снег везде-везде; день действительно ведь ужасный – хуже не придумаешь назло. Нечего сказать, угоновила-таки судьба немилая. Никому неведомо, что же еще дальше предстояло пережить. Угоняемые шли насилу, истощенные. А всесветная пурга, налетная, завиваясь, сатанински пела и свистела, шествию подсвистывала тонко. Ну, неладная! Она будто забавлялась над несчастными, трагически попавшими в бедствие людьми.

И больше ничего: неслышно было, главное, хотя б утешительного разговора наших пушек фронтовых. Они молчали.

Как досадно!

Анна Кашина лишь помнила: стыл то на ветру февральский день, никакой иной, и ненавистный зачумленный немец напоследок гнал всех их, бывших колхозников, из дома под метлу; а уж точное, конкретное число, которое нынче пошло, она, хоть убей ее на месте, ни за что не помнила, начисто забыла вроде. Она точно помнила его, но вдруг позабыла почему-то. Февраль, кажется, пятнадцатого, в Сретенье, свои усы колючие растопырил – взял и нагнал мороз; а после, хотя и сбавил, вновь подразыгрался, заметелил – о-о! Нет, видно, окончательно голова затмилась в аду этой беспроглядной, ровно темь бездонного колодца, фашистской оккупации, уже длившейся здесь, под самым Ржевом, невозможно долго – много больше года – с печаль-

ного октября 41-го: стало не до живу, не до исчислений дней идущих, только умереть. Одно желание. Но, как говорят, живешь – скрипишь, не помрешь без смерти. Пока она не придет. А возможно, что на почве голода даже память провалилась, подвела-таки ее, Анну, совсем ведь еще не старую, сорокадвухлетнюю, да больную, ослабевшую мать небольшененьких еще шестерых детей. И похоже (правда оказалась беспощадно горькой все-таки), у ней, обыкновенно, заурядной женщины, не хватало уже необходимых сил, чтобы все же выдержать мытарства до конца, выдержать, не сдаться ненароком. Из-за этого ее отчасти почему-то мучил жгучий стыд. И он не затухал ничуть, загудел где-то внутри ее назойливо.

Ну, вот, значит, дожили они, страдальцы, дожили-то и они, до такого выселения!.. Не обошлось... И для начала – вынесения окончательного приговора – сгоняли всех в середину их деревни Ромашино, к немецкой комендатуре.

Анну колотило. Странно у ней веки дергались. Ей хотелось плакать от бессилия. Но слез тоже не осталось – верно, уже дочиста все выплакала. И сейчас она, вышагивая пока вровень со всеми выселенцами, также немощными, негодящимися ныне ходоками, хоть и еле поспевая в шаг, в заскорузлых валенках, лишь только видела перед собой, что змейками пуржило встречу синюю поземку, ощутимую, почти одушевленную; в поземке этой вопреки всему воинственно жила вовек неугомонная и какая-то холодная, тонкая, обжигающая сейчас песнь, не иначе. Такой явственно-отчетливой и стройной песнь как бы калилась в Аннинном сознании, преследовала неотступно, с каждым новым трудным шагом. Боже, думала, отчаивалась Анна (но не за себя – за маленьких отчаивалась), ведь вконец все рушилось. Самое последнее, что еще хоть сколько-нибудь помогало ей надеяться на что-то и могло в конце-концов спасти. Верней, рушилось, поправились она по ходу сбивчивых отныне мыслей, для невинных детушек, гонимых так же, как и все уцелевшие на сегодняшний позорный час односельчане, вражьими, жестоко-взедливыми – как точащая здоровье ржа – солдатами, пропахшими насквозь окопным потом и коростой. Теми, кто вначале-то готовился в прогулочном почти порядке все пройти у нас и только руки протянуть и все загрести себе, а население, живущее вокруг, ликвидировать. Перебабахать.

Да, живые люди береглись (и волоклись) под дулами устрашающе косящих автоматов, с чем ведь развлекались до самозабвения всю развоевавшиеся отборные и сильные, и смелые собой да презренно жалкие немецкие солдаты; не могли они, захватчики, все наигратся, понатешиться – уж столько слепо, дико сгубленных лет подряд – и еще окрикивали подневольных несуразно, даже нервно:

– Рус, schnell! Schnell! Schnell! Пошэль! – Что свидетельствовало очень превосходным образом о критической натянутости их хорошего немецкого терпения, которое же просто лопалось, едва только где-то пахло чужой кровью человеческой, свежей кровью, должно быть пролитой.

Это надо бы давно всем-всем везде понять – и безропотно повиноваться вмиг, без оглядки. Они уже были так науськаны, натасканы, настроены, были рады, счастливы выполнить любой уничтожительный приказ; и, безусловно, нечего с них, безмозглых сошек, взять и спрашивать еще с большим пристрастием.

Вот какое лихо, времечко какое подступило! Думал ли об этом когда кто-нибудь? Никто.

Все быстрее-быстрее куда-то им давай, катись в преисподнюю. Не то, видишь ли, из-за мелочной возни с тобой, пока ты жив, не навернулся, рисковали они попросту опоздать и упустить свое кровное, обещанное и положенное им вполне законно и заслуженно за их тяжкие солдатские труды, возмочь которые не каждому дано, отнюдь. Или уже, может, их могучая военная империя крушилась, буксовала вхолостую? Ибо все глупей, неразумней суетились отчего-то эти подгонялы пришлые, безликие, многоопытные старые вояки, уже потускневшие заметно, словно котелки походные, нечищенные, и вояки молодые, еще зыркоглазые, до всего

голодные, – с заученной готовностью травить, давить, стрелять. Что, действительно, взять с них, истуканов? Шиш?

Они упивались тем, что могли обращаться и обращались худо, бесчеловечно с беспонятливыми существами русскими, будь то военнопленные или гражданские, взрослые или малые и что привычно пинали людей также необычайно уместным по назначению словечком «Schnell», наравне, разумеется, с незаменимым – с железной хваткой – словом «Karut», совершенно не нуждавшимся нигде в переводе и повторе. Упивались вслед за славным, громкими военными делами, которые вели весьма производительно. На все глаза. Производительней кого-нибудь. Много ими было наворочено без удержу, без роздыху, при содействии и поощрении верховным, мракобесном. На весь мир людской. Чистить – не отчиститься вовек.

Но ведь сколько лиходеи ни долбали, и окрик лишь сильней ожесточал гонимых – слух раз и навсегда отказывался это принимать и послушно привыкать к повиновению.

В оборонительной, навязанной немецкими фашистами Советскому Союзу войне, правила нашим народом истина великая, неистребимая, незагасимая ничем, никакой усиленной репрессией с оглушительными подзатыльниками; как и в период любого европейского нашествия на Русь, стержень этой истины тем больше распрямлялся, чем большее давление оказывал на наш народ агрессор, потерявший уже всякий предел жестокости своей.

– Ой-ей-ей! Где-то недалеченько, должно, загрузили наши воины-спасители – не дошли до нас, нам не аукают...

Никто даже не поддакнул Анне. Всех заохлодило, сжало.

II

В сердце впечатлительно-беспокойной и хлопотливой Анны (если бы еще, конечно, дети не связывали ее по рукам), без затишья на какой-нибудь момент, все истерзалось, изболелось острой, неостудимой болью с тех пор как настал тот мутный день 14-го октября, Покров, когда сюда валом хлынули-нахлынули эти незванные наглые и отупелые серо-зеленые шинели и мундиры.

Анна со своими шла среди своих. А пурга, не отставая, пела между тем, сквозящая. Рядком.

Вдруг Анна резко вздрогнула: безжалостней пронзил метельный вой, вернув ее к сегодняшним губительным событиям. Он, к несчастью, нисколько не стихал – взлетал, кружа, набегам; травил, бесчувственный, вконец затравленную душу.

Колючий мелкий снег заносил колесно-шинные и прочие дорожные следы. И легко, играючи метель перехлестывала струйками и ровняла высокие, в рост, слежавшиеся валы снега – из снеговых брусков, сложенных для прикрытия с обеих сторон дороги. Изохренные оккупанты заставляли ежедневно местных жителей расчищать все дороги от заносов – старались держать в наилучшем состоянии эти особые артерии для быстрого перемещения своих войск внутри большого, завоевываемого ими государства.

– Мамочка, ты боишься, да? – пролепетала Верочка участливо.

– Что, дочур?

– Да ты ведь дрожишь. Как и я дрожу. Вся-вся-вся.

– Держись крепче, ласточка, чтоб не потеряться нам в этих муках.

– Тоже я боюсь. И держусь что есть мочи за тебя – не отпускаю. Видишь?

– Ну и ладно, ладно, ангел мой, что так с тобой идем. Не бойся: я тебя не брошу.

– И я тебя – тоже. Правда-правда!

– Верю, доченька. Все, договорились. Хорошо.

– А куда нас, мамочка, ведут? – продолжала Верочка, захлебываясь ветром.

– Они говорят: в самую Германию, дочур.

– Что, туда, откуда немцы накатились к нам?

– Да, туда, туда, моя касаточка. Иди, иди, не путайся. Смотри себе под ноги.

– А Германия – далеко? Да?

– Небось, идти нам – не дойти. И не видать.

– Мамоchка, я не хочу в Германию. Ну ни за что! Одни фашисты там. И немцы. Не могу терпеть их. Их и старосту еще. Предателя.

– Ну, вольному – воля, доченька, – заметил кто-то позади с горькою усмешкою.

– А давай мы, мам, убежим, взовемся и убежим, – говорила мечтательно Вера. – Тихо, тихо, и никто из немцев не увидит нас. Увидишь...

– Верушка, уймись с языком, – вроде б спохватилась Анна. – Мы так пропадем – собьемся с шага. Помолчи маленько. – Она думала.

Анна знала теперь главное – что был предел всему; с автоматом не поспоришь – будет поздно, крышка. Вовсе ж не случайно бледнолицые гонители, касаясь существа затеянного ими выселения и, наверное, сочтя нелишние всех оповестить, с пугающей деловитостью предупредили сегодня жителей, что они немедля расстреляют тех, кто станет отставать или, чего доброго, вздумает бежать; точно той же карой они и пригрозили в случае, если бы кто попытался уклониться от выселения; они вовсе не шутили, не пугали никого, а говорили все, как есть, обольщаясь беспредельной властью над живущими – единственно по своему умиротворению. Все-таки пока они, гонители, заказывали музыку, – помнила она, старалась помнить – для себя. Чтоб не подкачать. И она заклинала себя поберечься, хоть немного, чтоб не отставать от всех. Теперь это, разумеется, заботило ее. Начинало доходить до ее сознания со всей суровой очевидностью. И жизненной необходимостью.

А в воспаленных бессонницей глазах Анны возникала, словно в знакомом обморочно-тянучем тифу, возникала и строилась, подгоняя ее, однако, само собою, какая-то нереально безобразная чушь: это темно мерцавшее в ходьбе колыханье верениц согбенных спин, и ей, ясно слышавшей и спереди, и сзади очень напряженный, словно похоронный, скрипучий людской марш с участием посерьезневших даже младенцев, временами чудилось, что все это мерзкое творилось будто бы не с нею, а с кем-то еще, а она лишь чувствовала и свидетельствовала все в такой реальной степени – до убедительнейшей живости. И причиной этого, по-видимому, были ее повышенная впечатлительность и обеспокоенность. Но потому как чей-то грубовато желчный и одновременно вкрадчивый голос, выделяясь из сонма гудевших где-то в пространстве голосов, поминутно издевательски куражился над ней – встревал, перебивая ее, всех, и иронизировал над ней по-идиотски, – можно было твердо заключить, сказать себе: «А, пожалуй, это въявь нас, как бычков в закляние, ведут...»

Анну занимало, развлекая даже, пение пурги и то, что под это бесконечное пение она думала, а также голоса, раздававшиеся в голове у нее.

Кто-то все наговаривал ей вкрадчиво: «Уж ты, Макаровна, как ни привязывай на санках ради лишней подстраховки свою Танечку малую, только в холодину все-таки и можешь не сбегать ее; этакую прорву ребятишек для чего-то (на мученье?) нарожала, дура чистая, набитая, необразованная, – не предвидела, безумная, что заново дойдет издалека и засмердит зловеще зловоние всепожирающей войны; вот уже оторван от тебя и всех родных – чередом за мужем – и курчавый старший сын Валерий, вдогонку которого ты еще напутствуешь самыми нежнейшими и нужными, еще недосказанными словами материнскими, дабы он услышал их. Или говорят фартоватые немецкие начальники, гоня тебя на сладкие германские хлеба, ненасытная твоя утроба...» То в уме ее выплескивалось как-то наобум еще, вполне вероятно, оттого, что там досконально все перекипело под влиянием умопомрачающих событий, одним махом опрокинувших весь свет, и что она, искательно сейчас философствуя сама с собой (навыкла больше под бомбежками-обстрелами), вела еще какую-то вторую – созерцательную – жизнь, то есть смотрела на самое себя и на птенцов своих, и на всех-то окружающих, словно бы со

стороны сверху. Но тут выделялся вроде б силинский голос – по-прежнему еще звенел злобой, налитый, бессовестный, иудин. И как будто и сам Силин, краснорожий пес с клюквенными глазками, дрыгался и лыбился перед нею. И поэтому прояснялось нечто для нее, обретало контуры действительности, той, в которой люди шествовали подневольно, не сами по себе.

– Мама, мама, ты опять не видишь ничего?! – внезапно, с укоризною, прикрикнула на Анну юная Наташа, старшая из дочерей, голосистая певунья, тащившая впереди за веревку вместе с мечтательным братом-подростком Антоном старые вместительные санки с узлами (на санках этих и сидела Танечка), скрипевшие полозьями на накате. Она, то ли почувствовав что, то ли услышав за спиной знакомый материнский вздох, услышав его даже за скрипом санок и шарканьем подошв бредущих, то ли заметив что-то неладное, обернулась на ходу, строго глянула прекрасными черными отцовскими глазами и прикрикнула – по-видимому, оттого, что мать забылась снова, несмотря на их недавний уговор и большую-пребольшую просьбу возмужалой характером дочери, которой исполнилось уже семнадцать лет. – Фу, какая, право!.. Догоняй!

III

Теперь, барахтаясь под колесами у немца, Анна умом своим сознавала: сказывалось все нечеловеческое напряжение текущих дней – они ее измучили морально и физически; потому она сейчас и не годилась никуда, была вся-вся разбитая.

Всех одолевала жажда, отчего идущие, нагибаясь, пригоршнями схватывали из-под ног желтый, нечистый снег и глотали его – в сторону ж боялись отойти во избежание трагических недоразумений. Все-таки разок Наташа дошагала до обочины и, что удивительно, здесь ногами зацепила за какой-то тугой мешочек, оброненный или выкинутый кем-то. Подняла его. Потом, развязав его, она увидела, что в нем был молотый кофе. Килограмма два, побольше. Он приятно даже пах.

– Да брось ты, что разглядываешь! – досадливо-неодобрительно сказала Анна. – Это лишняя нам тяжесть. Измудруемся. Кто-то, видать, не понапрасну выкинул. Не зря.

– Нет, доченька Наташенька, возьми, возьми, – кофе вам не помешает, – убежденно посоветовала Поля, – наоборот: может еще помочь, сберечь силы. Он еще очень пригодится, что вы!

Она убедила взять его с собой. Наташа послушалась ее.

От лесной шумливости, несказанно мягкой, серебристой Анна впала в сладко-вяжущую все сонливость. С легкостью как-то проваливалась в небытие, будто устав чувствовать себя вместе с бременем взвалившихся на нее давным-давно забот материнских. Неотложных. Но вместе с тем обостренным, контролирующим чувством она чувствовала, что безостановочно волоклась каким-то немислимым волоком людская река, захватившая ее в поток; на пределе качались и качались, извиваясь темными рядами, неразгибаемые уже спины, плечи людей, побеленные снежком, как и косматые плечи осанистых елей, столпившихся – словно в недоумении перед тем, что было – у большака; тягучие шаркали сотни ног и скребли полозья санок об изъезженное дорожное покрытие, и фырчали, и гудели, и чадили газом пронесившиеся взад-вперед громоздкие немецкие грузовики; и слышалась отрывистая, лающая нерусская речь, и опять – приглушенный скулеж и плач детей: «Ой, ручки у меня болят, болят мои ножки, миленькая мамочка моя». Это, – Анна знала ее манеру, – причитала, как большая, Танечка. Однако несильный детский плач перебивала вновь пришедшая метельная песнь, все усиливаясь вместе с непогодой, хотя вроде просветлело отчего-то вокруг.

Оттого ли она, мамочка, встряхнулась как-то – и опомнилась враз? Должно, должно быть. Опомнившись, Анна сообразила, что лес незаметно кончился: они выбрали опять на холодный, продуваемый, разгулявшийся простор, опять прибавили шаг. Для верности она вновь пересчитала всех своих, отмечая каждого глазами, завидно видящими все. Нагнувшись над сан-

ками, в момент, когда их движение немного застопорилось отчего-то впереди, она лучше подоткнула распустившиеся одеяла вокруг тельца скулившей Танечки; чуть подвинула ее ножки, онемевшие, ласково ее успокаивая своим близким прикасательным присутствием. А затем опять вобрала в свою ладонь маленькую ручку Верочки, которой следовала – для того, чтобы тоже не замерзнуть, сидя на вещах, – подвигаться опять. Может, пробежаться?

Ноющая боль и наново наступивший вой в голове у ней не прекращались.

И опять, опять пришла необходимость говорить самой себе: «Ну, держись-ка ты, горькая головушка! Держись!» Потому как не на шутку ускорился их марш. Марш изгоняемых.

И если выселенцы непроизвольно растягивались друг от друга, то чаще всего они сами старались пробежками ликвидировать разрыв между собой. Перед глазами у всех маячили те замученные молодайки, валявшиеся на обочине; это заставляло всех проявлять максимум осторожности, быть начеку, чтобы не давать сопровождающим солдатам ни малейшего повода для такой же физической расправы над собой, хотя многие едва держались на ногах от усталости. Тем более что наскольженные подошвы валенок скользили на отполированным ногами и шинами снегу, выдутым ребристо, наподобие рыбьей чешуи, вследствие чего идущие теряли равновесие, скользя, и падали часто.

Бездумно же, нисколько не думая об остальных, взвинчивали скорость хода возглавлявшие колонну – как-никак наиболее здоровые и ретивые ходоки, такие, как Силин. Здоровые, что ломовики.

Становилось всем тяжелей и тяжелей, и некоторые уже выбрасывали вроде б лишнее из вещей (уложенных с собой), что можно было выбросить, чтобы облегчить свое движение. Теперь, когда семилетняя Верочка подсаживалась на санки, и они заметно тяжелели, Наташа недовольно оглядывалась на нее. И Верочка спрыгивала снова под ее взглядом, с виноватостью.

Анна настолько зашла, что у ней стало покалывать где-то под сердцем.

Итак, сбой, последовательный сбой, – ясно проносилось в Аннинном сознании. Пришла беда, открывая ворота. Сначала взрывы бухают где-то вдали, потом – все ближе к тебе, ближе; сначала бегаешь из дому в земляное убежище, потом бросаешь ненадежный дом и столь же ненадежное убежище. Едешь на телеге, заваленной доверху вещами. Потом уже нет ни лошади, ни телеги и того необходимого для эвакуации количества вещей, есть только саночки с некоторыми узелками. А потом и этих саночек уже не будет; и не будет, может быть, и обуви на ногах – она износится, истреплется, а вещи кинутся, потому как дойдешь совсем до предела. И все еще будешь говорить себе: это еще не конец, родная, ты еще идешь-передвигаешься. И даже потом в самом-то конце будешь видеть выход, в той безмерной – по сравнению с высотой – низиной, в которую скатилась, или, верней, спихнули тебя твои вороги смертельные.

Господи, как лихо! Белый с синью снег, метет безостановочно, следы заметает, свое дело ладит. Так, наверное, и в этой непридуманной осуществляемой людьми убийственной переделке спорит в тебе воскресение со смертью и забвение с надеждой, заметаются и воскрешаются твои следы, и в солнечных лучах вырисовываются неожиданно рельефной пропечаткой. Даже и тогда, наверное, когда уже свихнешься сам, скovyрнешься где-нибудь на пути к чему-то. Что ж это такое все-таки?

Сколько она, Анна, все-таки ждала чего-то и надеялась на чудо для себя, для всех – чудо избавления: тем сильнее, настойчивей надеялась, ждала, чем сильнее обкладывали их бедой, насилием, лишением всего.

Где-то, где-то эти изнурительные перебежки сменились более посильным равномерным шагом. Можно стало отдышаться малость.

IV

Лишь потом удалось вздохнуть, дух перевести да и перемолвиться друг с другом словом: вошли они в какую-то просторную безлюдную деревню и остановились в ней, не скучиваясь, строем, – возле одного добротного строения, которое напоминало внешне, вероятно, бывшее колхозное правление. Сюда попеременно заходили конвоиры – каменные, посиневшие.

Да, при первом же соприкосновении с немецкими солдатами узналось, что это была армия палачей, мародеров и невеж и что в духовном, нравственном начале эти люди стояли гораздо ниже своих жертв, на которые они нацелились, – люди, страшно обедненные в культурном развитии, оболваненные ложной посылкой своей исключительности. Далекие предки их – варвары – одолели Рим. Но эти, потомки тех варваров, напрасно рвались сюда, на Восток. Ведь больше, чем сможет унести с собой человек, взять нельзя. Как все просто, если подумать.

Испепеляя взглядом из-под густых, как у Василия, нахмуренных бровей, – Поля проводила Силина, который выделяясь среди толпы черной своей тужуркой, независимо поперся также в этот дом.

– Ишь, все уверенность в себе и удаль демонстрирует маньяк! Фигурирует...

– Мне только непонятно, – сказала Анна, доставая из мешочка лепешки и кусочки сваренной конины – для ребят: – что же, немцы и его не пощадили за все его полезные для них труды – велели выметаться тоже? Что, неблагодарность ему высказали? Или что другое?

– Куда иголка, туда и нитка тянется, – сказала Поля. – Закон! А раз фашисты приготовились, по-видимому, сматываться все-таки отсюда, то тогда пора уж пятки смазывать и главному-то полицаяу Ржева, ставленнику их, чур бы не попасть, как кур во щи (по головке, – понимает он, – его нисколько не погладят наши, как придут); и ему, как палачу заядлому, в городе-то этом делать боле нечего, не на ком практиковаться, не над кем глумиться, – все, каюк, каюк – все в нем население пораспылилось и исчезло насовсем. Нет нигде ни душеньки. Одни развалинки во все глаза глядят. Ой, Анна, посидела б ты покамест на узлах – пришла б в себя немножко. Посидите, отдохните чуток все! Поешьте поспокойнее! Ведь не ровен час – они вновь устроят гонку, ироды. Поблажки никакой не жди от них.

– Вот тебе, Полюшка, огненно-железная метла наголо повымела... Матушки мои, было ж там никак не меньше тысяч шестьдесят людей! Это не деревня все же – целый город. Вот тебе их хваленое освобождение от гнета красных... Так расписывали...

– Ну, еще б! Карали тех, кого бомбочками с неба не ухлопали, как ни метали их; остатки людей изо всех щелей потом изъяли и повыскребли и взашей повыгнали подале. Силин до конца здесь кровопийствовал, безумствовал. Да посиди ж ты, Анна: посиди пока! Послушайся.

– Он-то, ясно, ясно, в кровушке запятнан весь. И не отмоеся.

– Только вы потише говорите, мам, – предупредительно-негромко проговорил жующий Саша: – Видел я, что он пистолет в карманах прятал – перекладывал. Недаром. Напороться можно, – хрустнул сухарем.

Поля похвалила:

– Ну, и молодец, сынок: заметил! На ус надо намотать, коли так. Дело усложняется, пока он с нами, возле крутится; слишком он знает нас – наизучил...

И Танечка пожаловалась, проглотив еду:

– Мамочка, ну, мамочка, устала я: все метет снег и метет – брызгает в глаза. Ты останови ее, метель. Ты большая у меня – может, сплавится...

– Февраль – горы ровняй, заяка, не скажи. – Поля тоже засмеялась ее детской выдумке, сказанной всерьез-наивно.

– Вот они-то тут со мной, – Анна присела на краешек саней. – А Валерий отнят у меня... Как же так?..

– Мой-то Толик тоже... Не забыла?

– Да. Он стоит перед глазами у меня – и кончено. Не избыть того.

– Но они, Анна, постарше ведь. Значит, посмышленней малых. Посильней. Меньших ты побереги. Покуда кровопийцы рядом.

Поля по-всегдашнему была права, обладала интуицией: их долго и потом гнали вперед, гнали безо всякой передышки. И приятным исключением в этом длинном переходе под конец дня пахнула божья искра душевности, с какой милые русские девушки, что ехали в закрытом кузове одного из немецких грузовиков, в то время как он медленно на подъеме совершал обгон растянувшейся колонны, откинули брезентовый задник и, невзирая на немцев, сидевших там же, скинули в толпу несколько небольших буханок эрзацного хлеба, одна из которых досталась Наташе. Она влетела прямо в руки ей, как нарочно. Свет воистину был не без добрых людей, как утверждала утром Поля. И это, несмотря ни на что худшее, давало основание еще надеяться на что-то, жить надеждой. Как всегда до этого.

Темнотой уже навалился вечер, холодневший в опустившейся пелене пурги; кругом смутно лишь угадывалась вихрасто-буйная снежная равнина, густо перемешанная с близким небом, до которого рукой почти достать; на ней ничего – никакого кустика, ни столбика – не виделось нигде; ничто не пробивалось, хотя б пятнышком каким, в этой серой, хлеставшей навстречу пелене. И уже затихло на дороге (если это еще была она, дорога, – не сошли с нее) движение немецкого транспорта. А немыслимое, фантастическое шествие изнеможенных, загнанных жителей все продолжалось в ночь, продолжалось, хотя ни у кого уже ноги не слушались, одеревенев, и не стало даже мочи утешать скуливших детушек, а не то, что быть еще способными на что-то большее.

Послышалось возмущенное людское роптание. Громче, громче... Да доколе ж будет длиться это испытание невыносимое? Ведь германцы, как пить дать, заведут в пустынь бездорожную и запрут в ней накрепко – на издыхание, и все дела. Шито-крыто. Какой может быть ночлег для неотесанных свиней? Мы же Schwein для них. Нет, начисто с дороги сбились и блуждаем: ноженьки не чувят ее твердости, не достают. Впору взвыть по-волчьи. Каково!

Наконец, вся вымотанная масса выселенцев круто, следом за передними, развернулась вправо, хлынула куда-то напрямки, смешиваясь, сталкиваясь и теряясь друг от друга. Так куда-то выкатились все – кругом опять высилось-белилось только одно поле бесконечное; лепил, гулял привольно снег, сквозь который слабо-слабо прорисовывалась вдруг кромка горизонта с шаткой деревенькой. В этом поле, где укрыться на ночь было абсолютно негде, стали; сучились, как овцы, и растерянно толклись на месте в неизвестности; перетаскивались покучней, переспрашивали один у другого, почему остановились здесь, на юру. Под напором пофевральски продувавшей все насквозь задиристой поземки мелко вздрагивал да вздрагивал низкорослый, утонувший в ней кустарник.

V

Вечер поздний был. Весь стан дрог и гудел простуженными голосами. Люди, доставая ощупью заледенелую еду из мешочков, сумок, узелков, подкреплялись; согревали маленьких, повытаскивав их из санок. Ничьих самолетов – ни наших, ни немецких, различаемых по звуку, – не было слышно, стрельбы оружейной – тоже; в стороне лишь пробежали, поскакивая, догоняя один другой, цепочки огней автомашин, и затем все погасло снова, погрузилось в холодную темноту, не обещавшую покоя, ничего.

– Ой, когда ж все это кончится? – поскуливала с санок Танечка. – И зачем они мучают нас?

Не часом ли позже взбудораженной люд взметнулся налегке и порснул напрямком к деревне, как наперегонки друг перед другом. Понять можно. То естественно. Оказалось, соиз-

волили сопроводители распорядиться так: всем – оставить вещи в поле, так, как есть, и идти по теплым деревенским избам. Это что-то значило для всех... Кто ж откажется?..

– Над народом душегубы сжалились – ночлег предложили, – выходила из себя, не смиряясь, жаждавшая действий Поля, тормошила опекаемых: – Ну, пошли и мы туда по-быстрому, пошли, ребята, Анна, Дуня; надо это мигом, не зевать, пока не расхватали там квартиры... А то выйдет – и приткнуться будет некуда, никуда не сунешься. При таких гнилых порядках-то немецких. «Дай им, боже, что нам негоже...» Ну, пошли! Айда! Барахлишко наше, чай, я думаю, здесь не накроется. Да и, если будем сами живы, невредимы, – наживем сто крат еще добро. Тут, главное, ведь в том вопрос, чтобы нам сами не окочуриться, из трясины выбраться.

– Да, пойдем, пойдем скорей, моя деточка; бог даст, отогреемся хоть там, в избе, у печечки, хлебнем кипяточку; глядишь, жилочки у нас расправятся, силушки в нас прибавится, – говорила Анна, собирая и больше подбодряя, чем поторапливая, своих малолетних. – Только ты уже не плачь, не горюнься, малая. Знаю, что слезами горю не поможешь, нет. Тебе спать пора. Вот сейчас укутаю я Верочку... Вот так. – И непостижимо было ей самой, как она сама еще не падала от сокрушительной усталости, а все двигалась и что-то делала и говорила, и привязано хлопотала возле них, детей, – ради них, беспомощных и беззащитных. Может, только это и поддерживало ее так морально, что она попросту забывалась в хлопотах о них, таких для нее естественных, насущных хлопотах. Все было понятно: нынче этими заботами она жила, согревала свою душу. – Ну, а ты, Антоша, если можешь, все-таки побудь-ка здесь пока, покарауль; ты уж извини меня, сынок, кроме тебя сейчас некому...

– Что ты, мам, конечно же, покараулю, – говорил взволнованно Антон. – Сразу ведь сказал – и с охотой даже...

– Сам ты знаешь, терпим мы нужду немалую, и если навернется все последнее... Что тогда?..

– Мам, не говори, пожалуйста, идите поживей!

– Заодно приглядывай и за санками тети Полиными и тети Большой Марьи. Чтoб не мерзнуть всем кагалом...

– Ты не бойся: не замерзну. Буду я, похоже, не один: вон и другие сторожами остаются тоже.

– Ну, если хочешь, как хочешь, сынок.

– Угу, – сказал он, что-то соображая.

– Из нас кто-нибудь обязательно придет к тебе, Антон, на подмену, – обещала, уже прокричав, Наташа, нянчившаяся с полусонной Танечкой.

Они ушли. Растаяли. Антон же остался.

Подняв густой овчинный воротник, а поверх шубы накинув еще плотное покрывало и для пушей надежности втянув голову в плечи, Антон опустил на санки спиной к ветру, вполюборот – к той деревне, куда все уходило отсюда, бултыхаясь в снежном месиве, в пляшущей мгле. Он говорил еще себе: хорошо, что валенки подбил, что сшил рукавички – не подводят, что в порядок шубу успел привести. Он безо всякого страха решил тут заночевать и думал покуда просто посидеть, а потом, если будет нужно, и вырыть чем-нибудь в снегу какое-нибудь укрытие, – ему, действительно, не было холодно, верней было не очень еще холодно; и было бы совсем не холодно, если бы не разгуливал так свободно шальной ветер, как бы приглаживавший эту равнинную, лишенную леса или оврагов, местность.

Как ни странно могло показаться, сейчас, оставленный среди метельной ночи, Антон не страшился одиночества, отнюдь, а больше всего терзался, осознавая ясно, что он все-таки труслив, хуже и трусливее всех других мальчишек, которых довелось ему узнать. Да, трусливее, нечего греха таить. Таким уродился. И об этом хлопала клеенка на чьих-то санках, трубил ветер, изредка мигали справа, точно летучие фонарики, фары проносившихся автомашин,

напомнив ему также, к его неудовольствию, даже досаде (отчего он даже поморщился), эпизод позавчерашний, когда они с Сашей глупо, до слез, повздорили – из-за того ненужного никому теперь фонарика, который на прощание подарил им гордый брат Валерий; они повздорили из-за сущей ерунды, а вот не убивались должным образом по брату своему...

И Антон почему-то вновь вспомнил весь позор, мучивший его всегда: как демоном куражился над ним, пятиклассником, в Ржевской школе один рослый и физически сильный лоботряс, отпетый второгодник из шестого «б». Олег, который едва не побил его. В детстве Антон часто болел и боялся ребячьих драк, точней, не участвовал в них. Задиравшихся ребят не любил. И он боялся Олега потому еще, что еще не находился в стадии разозления против него, – парадокс, казалось бы. Однако этот парадокс для него был прост, объясним: он точно становился непохож на самого себя, когда лопалось его терпение, и тогда он с легкостью обращал в постыдное бегство самых что ни есть отъявленных обидчиков.

Тот, демонический Олег, пыхтящий шумно, неопрятный, привязался к нему как-то зимой на школьной утренней линейке: он узнал, что Антон живет в колхозе и просил принести зерна для голубей, которых разводил и гонял над крышами, естественно окруженный в жизни птицами. Однако эти последние годы были тяжелейшие для большой семьи Кашиных: из-за того, что не хватало хлеба, только что продали на базаре корову-кормилицу и на вырученные за нее деньги покупали магазинный хлеб (обычно же, когда была дома мука, хлеб выпекала сама мама), чтобы свести концы с концами и дотянуть до будущего урожая. Потому Антон, разумеется, и помышлять, как бы ни хотел, не мог о том, чтобы оделить зерном голубятника. А Олег, в свою очередь, не вдаваясь ни в какие такие подробности, всего-навсего счел, что его попросту дурачат; нужно, значит, поквитаться – и он прибег к угрозе, и давил наседая и подкарауливая. Неизвестно, чем бы кончилось все. Да про то дознался ловкий и храбрый, как черт, а внешне неказистый Дима Урнов, тоже пятиклассник, товарищ Антона, одно время проживающий со своим замечательным отцом, образованнейшим инженером, и тихой сестрой (у них не было матери) в Ленинграде, а теперь квартировавший с ними в Ржеве, и однажды после уроков, при возвращении из школы, когда Олег со своим длиннющим приятелем в кожаной шапке начали преследовать компанию Антона, он задал им трепку. Причем один. И еще с каким-то неподражаемо артистичным изяществом.

Смотреть со стороны на это было прямо-таки удовольствием. Когда Дима в открытую, по-джентельменски, постарался образумить Олега с приятелем, они и к нему пристали с наглостью, переключившись разом на него, и попытались его толкать-переталкивать плечом на ходу, и подбивать ногами. Но у них из этого ничего не получалось при его природной и натренированной ловкости и гибкости. А затем в мгновение ока вышло так, что Олег без памяти что есть мочи драпал от него (без шапки), а второй великовозрастный забияка, которого Дима буквально швырнул наземь, в снег, схватив его за шапку и даже крутанув, лежал поверженный, – на нем же верхом сидел победитель и диктовал ему условия.

Смех-смехом, только на беду по улице как раз шла откуда-то с сумкой мать поверженного, дама вполне приличная. Она обомлела:

– Вова?! Тебя бьют?! – и ринулась к тому на выручку, завопив-загорланив на всю округу: – Ты что же это делаешь, бесовестный хулиган?! Помогите! Помогите, люди! Держите его!

Так что пришлось уже ретироваться Диме своевременно.

Смелым и бескорыстным парнишкой он был. С чутким добрым сердцем. Он вскоре, спустя месяц примерно после этого случая, погиб, катаясь на лыжах с крутого берега Волги...

Позже Антон сдружился и с другими мальчишками из своего пятого «в» – особенно из-за математики, которую прекрасно знал. Знал он и любил он все школьные предметы превосходно, а математику – особенно.

Сидящему в поле Антону чудилось, что и бесшабашно-удалой Дима Урнов, и органично живой учитель Павел Тимофеевич, и даже худенькая Галя Рощина, всегда тупившая взор, – и другие – все, кого он знал хорошо, с уверенностью в них, приятельски подмигивали ему из пуржившей полутьмы и дружески его наставляли: «Ты смотри у нас, не дрейфь!» Это наставление было очень важно для Антона. И он даже прошептал – как бы в ответ, растроганный: «Да, не буду я, не буду дрейфить, клянусь вам...»

Да то ли уже начал сон одолевать его или померещилось ему совсем невероятное, но он с четкостью слышал приближавшиеся к нему хрустящие шаги и взбодревшие знакомые голоса, которые принадлежали явно Саше и Наташе, не кому-нибудь другому. Замер он. Вгляделся. Пропела над ухом пурга, раскрутилась, прежде чем его позвали:

– Эй, Антоша! Антоша!

– Ну, я, – еще не веря, погромче, отозвался он.

– Как, небось, закоченел? – Размашисто придвинулись к нему, будто прямо с неба брат с сестрой.

– Еще нет, нисколько. А что?

– За тобой пришли! Давай с нами! Ну-ка, вставай!

– А вещи наши как?

– Переночуют тут. Кое-что с собой прихватим. И прикроем чуточку. А то вмиг позаметет. Никто не утнет наше барахло...

VI

Облитая внутри жиденьким, пугливым светом от двух зажженных кем-то плашек, бездвоякая кургузая, накренившаяся грибом изба, куда братья и сестра зашли, кишмя кишела народом – на истоптанном полу, где невозможно было ступить без того, чтобы не наткнуться на кого-нибудь лежащего или сидящего, и на двухъярусных дощатых нарах копошились или неподвижно, во сне, застыли гирлянды человеческих тел. В спертom от испарений и душном, как в предбаннике, сумраке.

И окна избы уже отморозились: глянцевито-почернело текли-плакали.

Избу эту гонители использовали, верно, под перевалочный пункт. Однако, несмотря на то, что была она обезхозьяенной, давно негретой, она все-таки еще служила по-доброму всем: в ней можно было хотя б мало-мальски отогреться, отоспаться после полудневного пребывания без пищи и отдыха на бесновавшей стуже. Набившись сюда, как селедки в бочку, выселенцы даже забыли про еду, голодные – их тотчас разморило; и они, враз застигнутые сном и накрепко скованные усталостью, уже дремали и клевали носом.

На счастье Кашиным тоже достался здесь, у перегородки в кухню, крохотный участочек загрязненного пола, где, плотно примостившись, младшие могли поспать хотя бы полусидя, а старшие – сидя и стоя по очереди. Раскрасневшаяся Таня с недокусанной ржаной лепешкой в болящих ручонках, Славик и Вера, раскинувшись, уже спали безмятежно; изредка они во сне пошевеливали пальчиками, которые как бы конвульсивно подрагивали сами.

И то Анна почла за большое благо, негаданно-нежданно свалившееся на них, – она уж не чаяла и этого увидеть, нет, не чаяла увидеть. Нестерпимо ей хотелось лечь, стащить с себя обручи – толстые отяжелевшие валенки и бухнуться пластом, и полежать, свободно вытянувши ноги, – они ныли и ломили. Голова у ней разламывалась от всего, гудела – боль не прекращалась. Иссякло все терпение у ней. Она не могла и есть, только через силу, как ни заставляли ее пожевать что-нибудь, ругаясь на нее, Наташа, Поля, Дуня. Машинально она отщипывала кусочки от лепешки и аккуратно, типично по-крестьянски, прожевывала их, без всякого удовольствия.

По-прежнему хотелось пить. И нечем было промочить во рту засохшем. Колодец был недосыгаем: и неблизко, и не выпускала из избы наружная охрана; смог только Антон выскользнуть за дверь – зачерпнул и бидончик снега, чтоб натаяло по глотку водицы. Да пока протискивался он среди тел туда-сюда, слышались то бред, то стон, то вздохи, а то и откровенная брань из-за того, что он шлялся где попало, наступая на кого-то.

«О, горе, горе горькое! – все думала Анна, думала бесконечно-безостановочно. Об одном и том же. Как же тут спасти детей? Как не дать им простудиться, заразиться, заболеть и потеряться? Распылились, поди, где-то горемыки, жившие еще недавно здесь, подобно тем же лишенцам, которых немцы пригнали в Ромашино еще в августе прошлого года – из деревень, лежавших выше Ржева, – и поставили их в условия животной жизни, оставив их без жилья и пропитания. Где же все они сейчас? И где будем завтра мы?»

Комок подкатывался к ее горлу, и она вздыхала про себя.

Но и слышала она, с закрытыми глазами слышала горячий ветер, перекатывавший нагретые комочки распаханной и разделанной земли меж слабеньких стволов поднимавшейся рассады, и видела пронзительно синий блеск под солнцем осколка бутылочного стекла, затерянного в поле.

«Бум-бум-бум», – заколотили молотками в голову заспорившие голоса, едва Анна забылась и уже расплылись в глазах мшистые бревенчатые стены, о которые ломилась пурга с воем. «Ну, опять не поделили чего-то меж собой люди бестолковые, суетливые, – с неприязнью подумалось ей, – делят, когда и делить-то ровным счетом нечего и некогда. Одуматься все никак не могут... Шикнуть, что ли? Гусики мои калачиком свернулись, спят!» Она от оцепенения встряхнулась. Разгибаясь, лицом проехала по ржавым обоям с серебряным рисунком, блеснувшим в свете горевших еще плашек, и узнала Дуню, стоящую над нею на коленях, свесясь, – измученную тоже. Дуня кашляла. Но она запротестовала энергично, едва Анна хотела подняться и уступить ей место.

VII

Было ж вот что. Разоблачившийся Силин, полнотелый, сытый, нахохлившись, сидел на грубо сколоченных нарах, в середине их, на лучшем местечке, то ли уступленном ему, то ли захваченном им по привычке властвовать, и отбивался от наседавших на него баб, дружно поднявшихся против него.

Силин снова приземлился, точно наездник, сброшенный наземь норовистой лошастью, как он ни пытался оседлать ее. Немцам он, видно, больше не нужен был. Они взяли от него все, что могли – и выкинули его, уравнили со всеми; теперь он был такой же смертный, как все, и зависимый от немцев же, он, который так усердно им служил. Но он еще надеялся выбраться отсюда, из мешка, было видно по нему. Он только что, ворочая челюстями (пережевывал кусок мяса), зло выговаривал своей жене, забитой, чахлой, точно щепка, Зое Матвеевне. Она с двумя детьми – двенадцатилетней Глашей и четырнадцатилетним Гришей, заикой, была, как бы напрочь отгорожена от всех вселюдской ненавистью к главе семьи, а от него также отгорожена собственной ненавистью к нему. Странно-таки, она была особой. Еще когда-то раньше она хвастала, что не могла определить, когда муж выпивал; когда он выпивал, то начинал чихать вдруг, и так она определяла по этому признаку, что он выпил водки. Зато попросту не могла узнать, кто пьян, а кто не пьян. И смертельно боялась всех мужиков: это какая-то слепая, неукротимая стихия... Однако все бабы сейчас, испытывая к ней и ее детям неподдельную жалость, заступились за нее.

– Что, головушка болит, что за нее теперь держишься, как Наполеон? – поддала Силину светловолосая скотница Матрена Монахова, та, что осенью 44-го отсидела три дня запертой в холодном амбаре. – Бог тебя наказывает. За все прегрешения. Поделом тебе!

– А ну-ка! Собирай свое шмутье – и топай подальше, старая, – рыкнул тот на нее. – Как хряпну!..

– Ну, так! Еще рычит. Ну! И крыть-то нечем... – говорила Монахова, пятясь от него по нарам – с одежкой. – Нам тесно жить на одной земле. Ой, не бери ты, души, издеватель. Уж у нее, голубки, то ли характер, то ли характер, и то говорит: ненавижу его, мытарника, – говорила она, обращаясь к другим.

И Силин поморщился, больше раздражаясь тем, что теперь уж и в мыслях своих он не мог отделаться от нелюбимых теней-призраков, какими стали для него собственная жена и дети, с которыми он жил, очень важный, очень деятельный, осознавший только свою правоту и признающий только свои принципы.

Так, по существу, он не любил жену, какое-то бестелесно-вздрагивающее существо, и не питал с самого начала отцовских чувств ни к ненормальному (вследствие простуды головы и еще чего-то, передавшегося по наследству) сыну с отпеченной нижней губой, ни к крайне болезненной дочери, будто ожидающей от него удара чем-нибудь – может потому, как воспитывал он в них выносливость и преданность к нему не одним ругательством и грозным окриком, но и частым рукоприкладством. Иного отношения к себе в своей семье он никак не допускал.

Однако же сейчас его сильнее тяготило, главное, то обстоятельство, что вследствие выселения и его семьи наравне с однодеревенцами, без поправки, теперешняя его уязвимость диктовала ему соображение: находясь среди них, приспособливаться к ним, быть, как все. В изменившихся условиях он старался в особенности уже не брыкаться и быть несравненно миролюбивее с людьми. И тут еще в башке тюкало недоумение: был столь неожидан поворот к нему «освободителей».

Анна, верно, третьего дня уловила начавшуюся в Силине эту перемену и его неловкое отныне желание действовать потише, незаметней, вроде доверительней.

И вот он сам, не выдержав своей новой роли, сорвался.

– Дай ты дай насытиться ему спокойно, – обронил кто-то из угла, только отодвинулась Матрена от него, как от зачумленного. – В поте поработал ведь...

А Матрена еще подлила масла в огонь, пустив с издевочкой:

– Ишь заступница хорошая! Небось, не захлебнется. Ой, господи, боже мой!

Тогда исподлобья Силин оглядел роптавших, выжидавших, что же будет:

– Я сказал – и точка! Кончено! Ваших бабьих разговоров я не потерплю!

Но был результат обратный. Поднялась и Поля, та, которую он однажды было чуть не застрелил (ее отстояли бабы, умолив его):

– Так ведь баба тебе говорит. Русская и терпеливая. Что ж ты гневаешься зря?

– Ну и замолчите, всем я говорю! Не брехайте попусту.

– О, на чужой роток нечего накидывать платок, – возвысился Полин голос. – Ты лучше-ка вспомни, скольким людям рот заткнул. Ну, а дальше-то что будет – ты подумал?

– Да, дождешься еще ты у меня... свободы... Себе напророчествуешь...

– У него, видать, как у торгаша, не бывает сдачи, – проговорила Анна. – Поля, ты отстань. Избеги греха, пожалуйста.

И Семен Голихин было выступил, урезонивая всех, тонким и резким женским голосом, с присказкой:

– Тихо! Не шумите, бабы! Будет вам! Что нам надо? Только утром ись, в обед ись, – и тогда все будет хорошо. – Ему хотелось выслужиться перед кем-нибудь, кто был сильный.

Но народ уже нехорошо завелся и шумел:

– Дорвался бес до мыла – это называется.

– Культурно, дуже вежливо.

– Нет, я душно хочу всего недозволенного. И все ворочу нахрапом. Спасу нет.

– Не сосчитать, верно, скольких фронтовиков уже скосило, а он, крутоплечий бугай, нами помыкал.

– Господь леса не сравнял.

– Надо же не зарываться.

– Да, война для кого несчастье принесла, а для кого и счастье, что, они как грибы полезли, стали засорять жизнь. Что говорить!

Толпа судила шеф-полицая, сцепившись с ним в открытую, и Поля тоже резала ему:

– Ты, голубчик, знай одно, что наши сердца отходчивы, но не забывчивы. Против народа ты пошел. Заневоллил свою-то жену и детей. И за это погубительство ответишь сполна. По закону.

Наклонился Голихин к кому-то и слышно проговорил в испуге:

– Вот дает Полагая! Смерти своей захотела, знать.

Людей, предводительствуемых ею, было прямо тучи, и тучи эти будто колыхнулись ближе к Силину. Повеяло пугающей свежестью. И тогда он нервно вытащил из кармана брюк черный пистолет и, положив его на край нар, на виду у всех приостановил движение к нему женщин и их глухой ропот.

VIII

Опять вблизи глаз Анны блеснул нереальный серебряный узор, летя, зовя в неведомое будто; она забывалась, уже не слыша ничего: ни ропота, ни храпа, ни сопенья и ни стенанья или всхлипа во сне пугающихся чего-то детей и также взрослых. И снилась Анне потусторонняя стародавняя белиберда: корова Машка салфетку зеленую сжевала, а разлохмаченный Василий домкратом дом вывешивал на фундаменте; Анна сама стояла у топившейся печи и не верила, что можно такой маленькой шутовинкой поднять дом-машину. Суровел он: человек-то нынче и меньшей шутовинкой разметывает для чего-то все вокруг. Она слышала чьи-то веселые споры-пререканья: «Ты, слон, муху гонявши, мне нос отставишь или натворишь что-нибудь еще, как услужливый медведь.» – «Эва, что ж я ненормальный – не вижу, где торчит твой нос?! Чай, не сворочу его...» А на лавочке в кухне рядком воссидивали мирно те две молоденькие военные парашютистки, которых немцы расстреляли прошлым летом, – воссидивали невредимые, счастливые дети... Анна даже улыбнулась ладно во сне оттого, что такое было, или снилось ей, – все хорошее для нее, ее семьи и окружающих людей, и что подумалось ей вновь поэтому (и убедительно) – напротив, было все происходящее, тревожное, кошмарным сном, и только. Следует лишь проснуться от него.

Она так мало видела хорошее в жизни. Очень захотелось ей попробовать того, что называется, на ощупь... Каково ж оно?

Антон мигом вспомнил все, что происходило с ними, окончательно проснувшись – скорей из-за невозможности уже доспать недоспанное в сидячем положении (и бесперебойно молоточками стучало в голове – кажется, впервые). Табор и был табором со всеми неудобствами ночлега. В избе стало еще более сперто-душно, густо пахло потом; во сне кто-то постанывал, кто-то, пугаясь, вскрикивал либо кого-то звал на помощь.

Плошки уже не горели – воск выгорел. И, вслепую ориентируясь, как-то находя для ног свободные незанятые участки пола и все-таки всполошив одну девушку и двух или трех бабок, Антон поскорее выбрался на улицу.

Еще не синел рассвет. А погода несколько поутихла. И вроде б пахло оттепелью – было мягче, чем вчера.

– Это кто тут полуночничает – шляется? – С рыком справилась спросонья выползавшая почти следом за Антоном фигура узурпатора. – Скажи! – и мочиться стала прямо же с крыльца в пять ступенек.

– Это вышел я... – сказал Антон, узнав точно по голосу Силина.

– Полно якать – кто такой? Отвечай! Тебя спрашивают...

– Я – Антон Кашин. Вот кто.

– Кашин?.. Ну, не знаю я такого. А чего не спишь, как все?

– Не хочу – не сплю, – отвечал Антон с некоторым вызовом – по-взрослому. – Нельзя?

– Ну, тебя, дурак, никто и не неволит, если сам не хочешь... – Сколько же? Часа четыре будет, а?

Антон отвернулся от предателя, молчал. Что будет?

– Ты не вздумай дернуть, хоть и Кашин... Скоро дальше тронемся.

– Что бояться: некуда бежать!

– А ты не совсем дурак, стервец. Пошел, шкет, в избу! Ну, что говорю!

– Только тоже отолю. Сейчас приду.

Силин отхаркнулся, сплюнул и резко выругался. И ушел обратно в избу один, скрипя замороженными половицами ветхого крыльца.

Прежде этого бы просто не было, и точка. Разве б он позволил кому разговаривать с собой столь вызывающе – непочтительно, тем более – какому-то мальчишке?

Нет, определенно, что-то уже изменилось к лучшему.

Предрассветной ранью выселенцы, жуя наспех, в суете великой, вывалились снова за порог избы, давшей им ночной приют, выгнанные заведено исполнительными конвоирами, и подались напрямик к большаку. Брошенные без присмотра накануне около него пожитки за ночь замело изрядно, и пришлось с усилием руками разгрести снег, освобождая их и вытаскивая примерзшие и обледенелые санки. Большак наполовину тоже замело по-новому.

Все зевали, невыспавшиеся; похрипели-почужели голоса, словно отсырели.

Колонна по дороге растянулась длинно, длинней чем накануне, поскольку в нее еще подключили и других выселенных, ночевавших в этой же небольшой деревне Клиницы.

Не распогоживалось. С утра же все также неустанно дуло, мело, метелило, наполняя поднебесный мир вчерашними знакомо провывшими все звуками. Перекидывало опять много чистого белого с синью снега. Слепило глаза – от него, от появлявшегося солнца, которое по временам выскакивало в желтоватых облачных просветах и необычно ярко и косо светило и грело в заскорузло-обветренные, точно покрывшиеся коркой, лица. И все оживленной становилось на большой дороге, изъезженной полосатыми (как какая клоунада) и округлыми неприятельскими вездеходами, автомашинами и мотоциклетами, а потому утрамбованной, приглаженной их колесами и шинами. Зато к полудню, когда заметно отпустил мороз, хотя и мело по-прежнему, как-то незаметно-быстро помягчели на ней накат и наледь и, местами потемнев, стал быстрее плавиться снег, до того, что кой-где дорога даже обнажилась до мокрой черноты.

Люди брели в хаотическом порядке, усталые, сонливые, голодные; они не поели ничего толком и вчера, и поэтому не могли расторопней двигаться вперед, в постепенно намокавших и грузневших валенках, да еще тащить и толкать потяжелевшие тоже санки, у кого такие были. Все-таки все вымотали от этой продолжительной и скверной ходьбы. Еще с маленькими на руках.

А в особенности сейчас это сказывалось на пожилых и малых, еще одетых в большую – с плеча взрослых – одежду и обутые в большегабаритные – с ноги взрослых – валенки. Так, Антон и Саша делали невероятные усилия для того, чтобы не отстать от своих и волоочь санки с узлами и живым грузом, а бескалошные валенки у них все тяжелели, набухая влагой. Было худо. По-большому подкашливала Дуня. И Анне с разламывавшейся головой и немевшим телом все

невыносимей доставались километры. Она сама себя подбодряла, чтобы как-то выправиться: «Анна, не хандри, не притворяйся, ведь тебе нужно выкарабкаться. Ты все-таки не одна». И Наташа, боявшаяся потерять ее, оглядывалась часто на нее, следя за ее состоянием.

Однако Анну еще подстегивал страх за сыновей: у них обоих уже начали мучительно ломить промоченные и застуженные ноги. И хотя они по молодечески крепились, как могли, на глазах у них выступили слезы от боли и напряжения; и они все чаще на спусках присаживались на задок санок, чтобы хоть чуточку передохнуть, когда санки под уклон катились еще сами.

А Таня и Славик опять принимались хныкать и жаловаться, что болят у них снова ножки и ручки.

IX

Не было ни одного привала. И – вследствие этого – ни крошки во рту. Усиливавшаяся жажда мучила людей, и они, чтобы утолить ее, нагибаясь во время перемещения, так же, как и вчера, в пригоршни хватали с дороги затоптанный снег и его глотали жадно, – так держались.

Передвижение еще замедлилось, как ни понукали всех свирепевшие гонители.

С санок, которые волокла за собою Поля, тоже слышались стенающие звуки старческого причитанья: причитала Степанида Фоминична, уже залезшая на них. В минуту, только ход застопорился, Анна явственно расслышала мотив стенания и слова:

– Ох-хо-хо! Ох-хо-хо, родимые! Видать, смертушки моей пробил час... Кончинушка пришла, мои родимые... Ой-ой-ой!

И Анна еще вплоть к ним, к Поле подошла, задышала слабо ей в лицо:

– Слышишь, что она у тебя совсем занемогла?

– Пустомельничает! – виновато, со смущением, сказала взмученная Поля, справляясь с колотившимся сердцем и поправляя выбившиеся локоны из-под серой шали жесткие, посеребренные заметней, чем прежде, волосы. – Она хуже малой у меня! Не сладишь с ней. Вишь, как раскулилась, когда я посетовала, что уж впору заживо лечь в могилу; видишь ли, говорит, что, чур, ее первую тогда похоронить. Ее первую... И не смей, стало быть, при ней пожаловаться на свое-то нездоровье...

– Фоминична, шутишь, что ли? – задетая, обратилась Анна уже к ней, сидящей. – Ну, стонать-то перестань. Тошно Полюшке и так – столько нас тут... Она – не железная, верно...

– Знаю, знаю, Анна, я, когда смерть тебя прижмет, – ты тоже по-иному запоешь, – шамкнув, по-худому брызнула словами та, гном скукоженный, – как-то обвинительно за что-то; задрожали у ней губы, подбородок гнома и глаза сверкнули небывало. – Ты не зарекайся, Анна. Все под богом ходим. Он-то видит все-е! Молодыми все бывают, а вот старыми не все, не все. Ох! Ох!

Анна, хоть и не до этого сейчас ей было, видела: Степанида не могла, конечно, даже и сейчас, в эти-то тяжелые минуты, простить ей Василия, нелюбимого неродного сына своего. Она как-то чудно даже язвила тогда, когда Анну с семейством оставили немцы без избы: «Видно, это бог разгневался сильно – наказал тебя, лишил теплого угла своего». Страсть, какая костривая бабка. С нескончаемыми жалами.

– Анна, отойди-ка от нее, – попросила Поля со смущением и гневом вместе. – Ведь у ней опять начнется антимолия по-старому. Лепит, благо язык без костей и нет ума...

– Она пнем сидит, молчит, молчит, ну, а если скажет что, – тогда хоть святых всех выноси. Не поймешь, с чего ее заносит...

– Ты не говори. Охотно тебе верю. – Поля с твердостью наклонила голову, веревку натянула. – Пошли! Орут...

Погоняльщиков будто прорвало. Они все упрямей, озлобленней подгоняли русских. Дело шло к какой-то развязке.

– Матка, Schnell! – сказал Анне лично приостановившийся над ней, согбенной, солдат, который выстрелил в нее вчера, когда она метнулась за упущенным мужниным письмом, – сказал волевым молодым голосом, теряющим терпение. – Ferstein?

Она глянула на него – и ее буквально пронзили его неживые, льдистые глаза. На этом осклиженном льдистом большаке, на котором-то и так спотыкаешься, тащась с усилием куда-то в неизвестное. Глаза солдата подхлестнули, всю ее переверотив – сильней всяких его выстрелов; они очень убедительно сказали ей про то, что теперь никоим образом нельзя допустить такое, чтобы была дотла разрушена их прежняя жизнь и все, что она несла им с собой, и чтоб началась какая-то другая жизнь – нелепая жизнь – поражение.

Все дальнейшее в ее воспаленном воображении уже виделось как сплошной поток мытарств, в котором все они, выселенцы, чрезмерно борясь с течением, барахтались зря. Уж не было никаких иллюзий относительно конечного исхода выселения. Стало быть, сейчас следует противиться, используя для этого хоть малейший шанс; нужно непременно улизнуть куда-нибудь, улизнуть, покамест конвоиры еще не следили тщательно за каждым, не очухались, не озверели до крайности.

Поля, всегда отличавшаяся трезвостью своих суждений, сметливостью и решительностью, поделилась с Анной также тем соображением. И она примечала все. Она тоже углядела, как пытался Силин дважды или трижды остановить немецкие автомашины и, манипулируя какой-то бумажкой, о чем-то просил немцев, но они ему, видать, отказывали в его просьбе. Но позднее, когда она, Поля, спохватилась, его с семьей уже не было в колонне. Значит, где-то он удрал. Незамеченный. И Авдотья тоже. С женой. Значит, что-то есть во всем этом такое, от чего необходимо избавиться скорей, пока не поздно. Это лучше, что соглядатай удрал. Развязались руки малость...

– То-то утречком я услышала, он еще хорохорился сомнительно.

– Метался?

– Да. Как трепло худое. А кишка, знать тонка.

– Памятливый... И запомнил плохо тем, кому гадость причинил.

– Он опять грозился пистолетом. На крайний случай. Тряс им: а вот это у меня на что? То ли у него немецкий, то ли отобранный у пленных красноармейцев – не могу сказать.

– Что он с одним пистолетом сделает? Собачья блажь!

– Нет, он в таком смысле говорил, чтобы, мол, пустить себе пулю, если что...

– Ах, вот как! Вон какая силища их перла, да и та обломалась, видно.

Большак петлял. Вдоль него, возле расставленных снегозадерживающих дощатых щитков, сохранившихся от довоенного еще времени, нанесло целые сугробы. Во время гонки кто-нибудь из идущих периодически заскакивал туда, в снеговые излучины, по нужде...

Антону тоже приспичило сбегать туда. Он поскорее направился вперед, учитывая скорость движения колонны, и зашел в межсугробье. Из этого он попутно заключил, что вообще-то в одиночку, без вещей (усыпив тем самым бдительность конвоиров), можно запросто исчезнуть из колонны; но ведь важно сразу всем исчезнуть, чтоб не потеряться никому. Как же испариться нам от немцев наилучшим образом?

Занятый таким соображением, Антон поскорее возвращался заносом, вдоль щитков, составленных шалашиком – наклонно, уголки на уголки, когда внезапно натолкнулся на обснеженно-недвижное тело девушки в лиловом пальто. Открытые, застекленевшие глаза и покойно-строгое суженное лицо лежащей своим сожалеющим выражением словно пристыдило его в чем-то, в том, может быть, что жил он, занимался интересами пустыми, – он то увидел, хоть и мельком, потрясенный, впечатлительный.

Антон впечатлительностью походил на мать, у которой был еще врожденный такт, природное чутье, и ее сейчас, по возвращении его к санкам, ничуть не обманул возбужденно-лихорадочный блеск его опущенных глаз, его невнятное бормотанье в ответ на ее вопрос, хотя она

не стремилась более расспрашивать его о том, что случилось с ним, чтобы не расстроить его еще больше, она видела.

Еще долго волоклись сельчане по большаку и растягивались, и подтягивались, как спохватывались; в их сощуренных слезящихся глазах качались и качались спины, тени от идущих впереди, от газующих автомашин, от деревьев, от сугробов, от следов, и уходило солнце низкое, холодное, словно оно таяло в полыньях чистых серых туч. И Анна еще не раз, переглядывая, пересчитывала про себя всех своих, с кем шла – ползла.

А Наташа, Дуня и Поля приглядывали во время хода за ней, очень плохонькой.

Наташа помнила охвативший ее, юную, страх за мать тогда, в апреле – времени повального ими перебалывания в лежку тифа, когда мать уже не готовилась выздоравливать – у ней не осталось сил, чтоб сопротивляться болезни... Как только она вспоминала о том, так у нее сразу же мурашки по коже бежали...

Прежние страхи, переживания давали знать о себе. И теперь Наташа побаивалась одного – что мать просто не выдюжит от этого непосильного бремени – похода, потому и поглядывала, приглядывая, за матерью, как-то переменяя положение нарезанный веревкой рук, – поглядывала чаще на нее. Особенно после того как на нее прицкнул докучливый фашист.

Х

Ближе к вечеру снова насунулось и потемнело: распогодилось, обильный снег посыпался сверху. Все забеспокоились отчаянней: что-то нынче будет с ними? Да неужто повторится все вчерашнее?!

Однако снование немецких автомашин в обоих направлениях не уменьшилось, а как будто даже возросло, нервней стало, что тоже беспокоило; по верхам их тоже гулял, завихрясь белой пеленою, снег, ветром раздуваемый.

Впереди, между тем расплылись очертания седой деревни. И когда придвинулись к ней ближе, строй вконец сломался: передние внезапно бросились к обледенелому колодцу, а за ними – остальные. Бабы, дети, старики – все падали, скользя, спотыкаясь и ползя, и отталкивали друг друга, и кричали так обезумело:

– Пить! Дайте же попить! Дайте же воды! Воды!

Только немцы-конвоиры и солдаты, оказавшиеся здесь, по каким-то своим соображениям не подпускали никого к колодцу – и отпихивали всех прикладами от него. В сутолоке они застрелили женщину какую-то. Упала та на желтоватый лед бугристый. Кто-то зарыдал. И тут осаждавшие колодец поотхлынули назад, затихли; строй собрался в лихорадке, двинулся и загудел опять, ропща: да доколе ж это будет так? Куда ж гонят нелюди? Что им нужно? Снова человека застрелили. Бога не боятся, хотя верующими себя мнят. Божатся, что голуби они.

Поля вся бурлила от негодования.

Анна тоже все-таки, хоть и маловероятно была надежда на ночлег и отдых, ни за что не верила в возможное, что это было теперь именно с ними и что кому-то было очень нужно для чего-то гнать и гнать безостановочно жителей, выдохшихся, загнанных. Какой такой резон? Зачем? Немецкие солдаты сами уже разуверены в своем могуществе, в победе – и не победить в этой войне, что бы они ни делали и ни делают еще. Так что ж? Или, может, так срабатывает по инерции механизм их действий подобно тому, как разбежавшийся за мячом в игре футболист по инерции выбегает за пределы очерченного поля и все-таки с запозданием заносит ногу и страшно бьет по мячу, прекрасно понимая, что поздно бьет?

Но Анна еще не знала (как и не знал никто из них), что до самого даже смертельного часа фашистской Германии палачи-нацисты еще не умертвили в адских лагерях смерти те двенадцать миллионов человек, включая маленьких детей, не сняли всех золотых коронок с их зубов, не срезали волосы и кожу, не сварили мыло, не рассортировали по полкам их обувь, их детские

горшочки и еще не озолотили тем Германию. Чудовищный заведенный конвейер этот крутился вовсю, безостановочно крутились его колеса – передачи, и туда-то нацисты гнали-перегоняли всех выселенцев, в том числе и Анну с детьми – с последующей доставкой по железной дороге.

Дальше – знак плохой – закрутило совсем по-вчерашнему; опять ветер, продувая встреч и сыпля в лицо вязко валившимся снегом, мешал продвижению вперед, куда гнали, и изматывал сильнее.

Анна уже насилушки брела, беспрестанно подвигаясь на лепешках, навалявшихся на наледи; она взмаливаясь, не таясь, опоминаясь: «Господи, да будет ли когда всему этому конец?! Хоть какой-нибудь. Уж все равно какой... Когда ж?» Но, как она ни отчаивалась за детей своих, она замечала между прочим: словно ей и впрямь становилось легче оттого, что она сама себя так занимала бессмысленным разговариваньем сама с собой. Либо с Верочкой. Либо с кем-нибудь еще. Это вроде б помогало ей.

– Ба, вы поглядите: точно у хозяек печки топятся – жильё! – с тоскливой жалостью и завистью бездомной проговорила Анна, когда приманчиво вновь возникли вблизи слева же, словно бы на некоем взгорье, избы деревенские с различимо напластованным снегом крышами и обвислые седые же деревья, а над ними толклись и сбивались кудельки прогорклого домашнего дыма, что и свидетельствовало о наличии здесь жителей. – Только не пойму я, детки, и не видно мне, где оно находится – в стороне от нас, небось? Неужели нас опять прогонят мимо? Судя по всему... по их повадкам... – У нее внезапно подвихнулись ноги. Ужаснулась она этому отчаянно.

Дуня также говорила с одышкой:

– Сюда-то еле дотащились. Шутка ли!... Дух заходится – как тяжело. Невозможно ползти... Сынушка, мой, не плачь. Сейчас приедем, мы приедем, скоро, маленький мой...

И двухгодовалый Славик, Танечка постарше будто понимали исключительные обстоятельства, в которые попали люди: поскуливали реже и потише.

– О-о, вроде поворачивать надумали! – старалась подбодрить Наташа всех. – Здесь малость мы, должно быть, и вздохнем...

– Дуня! Дуняшка! Да бог с тобой, сеструшка...

А Дуняшка зашлась, закашлялась надрывно, собою не владея.

Все повеселели, когда повернули. Да ненадолго. Все обернулось худшим.

Вместо теплых изб выселенцев загнали в стоявший одиноко, всего, может, в четверти километра от развилки дорог, на пологом полуоткрытом откосе, за которым синел лесок, внушительных размеров соломенный навес – сарай на столбах, без стен, но с редко оплетенными, как корзина, до уровня плеч, прутьями; в сарае этом скученно жались еще какие-то группки людей, ожидавших чего-то, и повсюду валялось какое-то тряпье, опорки, рваные галоши, сломанные санки и тому подобное. По всей вероятности, прежде в нем размещался скотный двор, а затем – немецкая конюшня, которую и приспособили позднее немцы под некий пересылочный пункт для изгоняемых. Так и захлопнулась ловушка. И возле нее выставлен был караул.

– Вот так вот! – едва оглядевшись, завозмущалась Поля. – Пожалуйста! Теперь не рыпнешься у них, чертей... Они хотят подчистую вывести русский народ. Вот что на уме у них, иродов. Оборзели они. Ненавидеть мало их. Надо делать что-то, бабоньки, если мы хотим остаться живыми, убереечь детей. Шевелите поживей умом! Давайте думайте... И отваживайтесь...

Сумерничало. Непогода между тем не унималась – опять к ночи запуржило, и сырой сквозняк продувал весь сарай, из конца в конец, гуляя меж столбов, перекладин, прутьев и дырявой соломенной крышей: он раздувал или задувал, два или три небольших костра, разложенных для того, чтобы погреться подле них. Было промозгло-холодно. У несчастных зуб на зуб не попадал. Тем более, что, естественно, вопреки все на гонке, а теперь в озноб попали: все температурили, наверное, обдуваемые нескончаемо завихрявшейся метелью.

Да, ночлег, заставший их, был зловеющий. Вокруг все совсем-совсем заволочло, и про света не было видно. Ни полосочки. Однако, несмотря на настроение, гнетущее, давящее, несмотря на жуткую, несравнимую ни с чем усталость (Анна, например, как на саночки усе-лась на минутку, так и встать уж не могла, не могла разогнуться снова) – несмотря на это, в непотухшем сознании Анну ясно продолжало беспокоить главное – что застыли маленькие, что раскашлялась Дуняша – нахваталась стужи, что Наташа притомилась очень – ей досталось крепко, что ломили в суставах у Антона и Саша застуженные ноги, что обычно такой крепкий, выносливый, не прошибаемый ничем бутуз, каким был Саша, даже он корчился от боли со слезами на глазах: помимо всего прочего у него еще и разболелись отчего-то бока. А между тем как подсознательно у Анны мысль работала – она искала лучший выход для них всех.

В эту вторую метелившую ночь и Анна еще острее, чем прежде, понимала, что медлить им уже нельзя – нужно очень быстро что-то предпринять, на что-нибудь решиться, для того, чтоб наконец спасти от гибели детей. Полюшка была права. Но как? С чего начать? Если разогнуться-то нет мочи никакой – так бы и застыла... сосулькой... И вот что за болезнь такая к Саше привязалась? Ведь не найдешь ни у кого лекарств каких-нибудь. Каких лекарств?! Мы – здесь, в снегу... Коченеет... Поет нам метель... Бежать! Бежать! Пускай сперва только дети хоть немножко у костра подышат... Отойдут.

– Детушки, разуйтесь и погрейте ноги у огня! Может, полегчает...

Они пробовали просушить чуть валенки, сняв их с ног. От костра сильно искрило. И хотя они зашли с наветренной от костра стороны, чтобы сыпавшиеся веером искры не пожгли у них одежду, но сушили, видно, зря: валенки распаривались лишь – от них густо валил пар и пахло шерстью и прелью, а разутые ноги окончательно замерзли, занемели до бесчувствия. Пришлось опять совать ноги в мокрые валенки.

И Антон, который с ведром все бегал вон из сарая, чтобы набрать снега и растопить на костре, еще пошутил, бодрясь (он не хотел излишне расстраивать мать):

– Ничего, мам, хоть нагретые теперь. Пускай и сырые.

– А как малыши? Заснули на руках?

– Засыпают, слава богу! – тихо отвечала и глазами делала знаки ходившая взад-вперед Наташа, прижав под расстегнутым пальто Таню к телу своему, так же, как и Дуня прижимала Славика и баюкала, и, пытаясь своим телом погреть ее. – Крошки малые... Уснули без питья и без еды! Бедненькие! – Со святой нежностью и любовью носила Наталья, согревая, сестренку на руках и чувствовала ее тепленькое тельце.

Анна с все удивляющимся, несмирным настроением рассуждала – либо вслух, либо внутри себя:

– Ой, им-то, ангелам, за что? За что гореть в аду? Они, дитятки, разве нагрешили где? Сердце кровью обливается, разрывается на части. – И уже насторожилась по привычке, сложившейся в ней за время оккупации: – Что он, злыдень, хочет от тебя, Наташенька, – прилип, неотлипчивый? Вишь, исподлобья зыркает... Немец, везде этот немец. Цепи их. Куда взгляд ни кинь, куда ни пойдешь. Как избавиться от них?

– Это воронье, – сказал кто-то рядом, или второй голос в ней. – Все высматривает... Хищник... Ой! Кому что. Кому кровь, мученья, слезы; кому – только наслаждения утробные – застят миру свет. Ох-хо-хо!

– Известно: разный мир... Вон нас стережет клятой надсмотрщик... Господи! Неужто в это время где-то люди смеются, радуются? Неужто у них кусок лезет в горло?

Конвойный, плоскогрудый подкашливавший солдат, дефилировавший снаружи сарая в безразмерных соломенных ботах и не выпускавший почему-то из виду в особенности Наташу, и раз, и другой заговаривал с нею, подойдя вплотную к плетенке:

– Ya! Ya! Est ist kalt. – Да, да! Холодно.

Она демонстративно не отвечала. Отворачивалась от него. Как не замечала просто.

Он снова предлагал ей пойти в избу. С ребенком. Но она отходила, или отступала в глубь сарая, хоронилась за чужие спины – с его глаз долой. Лучше было так.

– Что он, касаточка, привязался-то к тебе? – спросила опять Анна. – Преследует...

– Почем я знаю, мама! Говорит: иди с дитем в избу. Говорит: мол, там тепло.

– Ишь какой, раздобрился! – кинула Поля. – А другим что делать с малыми ребятами?

– Ох, не слушайте его, не слушайте, родимые, – вмешалась в разговор одна близстоящая старушечка. – Не ходите вы туда – ну ни в коем разе, а попрячьтесь от чужого глаза, чтоб потом не каяться. Там германцы ведь отбирают молодых и детей отдельно сортируют; сажают на машины и увозят дальше, к себе, в германскую империю. Даже насилуют девок... – Она сплюнула. – Антихристы!..

– Ну, не зря же немцы сами говорят про себя: дай черту палец, он и руку откусит, – толкнул затем Анну звук плотного Полиного голоса. – Видно по всему, что у них не лучшие намерения относительно всех нас. Только они – мастера! – зубы еще заговаривают нам. Глумятся. Будет еще хуже. Вот увидите.

Похоже, Поля уже митинговала. Вполсилы она ничего не умела делать. Такой у нее был характер. Бойцовский. Не сломленный.

XI

– Неужели? – сказала не то Анна, не то еще кто. Очень глухо. Анна будто задремала сладко, сказочно. В серебряном сверху донизу лесу. Под серебряный вой ветряной в вершинах тучных елок, покачивающихся нехотя. В своих тулупах...

– Конечно! – услышала она в ответ. – Этому предела нет, как и хорошему.

Лес был беспредельный, чистый и безлюдный – даже холодок в душе стоял комком. Но вблизи нее кто-то говорил, она четко слышала (и слушала, притихнув):

– Куда хуже уж! Мы и так кончаемся, по-моему. Скорей бы...

Анна вроде б улыбнулась, несогласная в душе, размагниченная, но все равно тревожилась скопившейся в ней тревогой обоснованной. Главное, за детей своих. Где они? Где?

– Мы-то – люди взрослые, ответственные; сполна отдаем мы себе отчет, какие они, немцы, наглостные, взбалмошные и какие они корыстные нехристи. Ведь бросили все на то, чтобы сломать нас и с корнями выкорчевать, вытравить, как нацию. Потому и говорю: попомните, бабы, будет нам еще хуже. Посудите, не на зимние же квартиры на постой они нас ведут...

И Анна уже вновь поплыла тяжело, качаясь, в полутьме тихо – скорбного шествия толпы, в ее серединке; она нутром чувствовала вздохи, стоны, шарканье ног и самоотверженность передвигающихся вместе с ней. Она была будто бы уже одна, собой будто жертвовала так ради них – чадушек своих, и вся наполнена вниманием, сосредоточивших целиком на том, что им предстояло пройти впереди – нечто исключительное, непохожее еще на все, что было, либо что она узнала. Но никто не возмущался этим переходом, как она ни удивлялась. Лишь один помятый мужичонка, видимо попавший не туда по недомыслию своему, дважды выразил за ее спиной неудовольствие своим участием в процессии, значение которой он не понимал, а потому и не молчал, как другие:

– Ох, столько дел и радости на земле, а занимаемся черт знает чем! Карусель одна...

Но на него испуганно зашикали все близидущие, пресекли его, и он сразу присмирел со своим крамольным языком. Только присапывал недовольно в шею Анны. Так больше ропота не слышно было. И ни малейшего сопротивления. Вроде это шествовали люди (больше женщины в длинных темных одеждах) вполне добровольно и безропотно. С соблюдением стадного порядка. Отвратительного. Но кому-то он был нужен, очевидно. Потому и был оберегаем уже всеми. Люди наострились превосходно это делать.

Все они как целой слитной массой, огибая обширнейшее выпуклое и совсем голое поле, волоклись послушно во всю ширину и длину мягкой безжизненной голой дороги, освещенной точно при лунном свете поздней осенью, когда края полей и дороги пропадают, расплываясь в неприглядной темноте, так и подволоклись в конце поля к чему-то, замыкавшему их путь, или бывшему на пути у них, через что им надлежало еще пройти, – к чему-то неясно-неотвратимому, насколько каждый из них понимал умом своим и догадывался. И будто бы уже суровые и неподкупные голоса откуда-то предупреждали их заранее, что здесь им надлежит очиститься, очиститься душой, иначе нельзя им жить.

А какая-то сухая и прямая женщина в черном одеянии, вроде бы главная жрица тут, строго, ожигая глазами, встречала их на этом фланге и совала в руки каждому, кто подходил по очереди, по полкаравая душистого хлеба, от запаха которого текли слюнки.

Полкаравая воткнулись также в руки Анны. Она дальше прошла с ним. Увесистым. К краю поля.

А когда она уже приблизилась к неотвратимому для всех и уменьшилось число подошедших впереди нее, она с удивлением увидела перед собой расставленные на отшибе в ряд здорюющие побеленные русские печи с темневшими топками. Что там внутри было, невозможно разглядеть в водянистой полутьме – еще также потому, что этому мешали, заслоняя, сумеречные спины, плечи, головы идущих впереди – податливо колыхавшаяся туда-сюда с потаенными вздохами людская стена. Но вот она, эта живая, все заслонявшая собой стена, стала прорезаться, будто она как-то невидимо растворялась, постепенно таяла. И затем опять на глаза Анны попали, или обозначились очень отчетливо, рельефно, те некие служительницы строгие, непроницаемые, чинно, без излишних слов, отправлявшие здесь весь скорбный ритуал.

Служительницы разбивали по группкам подходивших людей и посылали их во вместительные печи, в которые надо было залезть. С полученными, как святыня-подавание, священными полкраюшками хлеба. По пятеро человек в каждую. А всего печей с этого края склона, как Анна для чего-то насчитала про себя, стояло восемь. И так – по пятеро – люди подходили и подходили сюда, не мешкая, с готовностью жертвенной; и, прижав к себе хлебушко, скрывались вместе с ним внутри странных печей.

Меркло, меркло все кругом угрюмо, в сыром тумане. И ни день и ни ночь еще. Ни весна и ни осень вроде б. Лишь пятнами белели в поле, выделяясь, эти печи. С черными емистыми в них дырами, поглощавшими всех мучеников.

Анна тоже сблизилась с самой крайней справа печью и отчетливей уж разглядела ее невиданную, поразительную внутренность; не то, что разглядела – был особый интерес, а само собой бросилось в глаза ей. Внутри там, на полу, как будто были наложены с избытком свеженаломанные березовые веники, листочки на которых еще не обвяли, не скрутились, и больше ничего существенного, отличительного, т.е. печь была самая обыкновенная, почти из домашних, в каких еще парились в крестьянских семьях – за неимением бань – взрослые и ребята. Только печь размерами побольше. Вдвое примерно. До Анны дошел щемяще волнующий березовый запах. И она вздохнула с жалостью по всем горемыкам, не только к себе. Значит, так вот подошел черед и ее – черед шагнуть в неизвестное. Она подошла сюда одна, без детей, как шла все время, она это точно помнила; она приготовилась сделать то, что предстояло ей, – сделать, не колеблясь ни секунды. Как внезапно, почти из-под ее руки, откуда-то вынырнула молодайка, опередив ее немного, на самую малость; та была с двумя девчушками – одна другой меньше. Анна от удивления замешкалась чуть, пропустила их. Не станет же она отталкивать детей, чтобы в рай попасть. Тут только и остановила Анну, вытянув перед ней шлагбаумом руку, сухая, служительница в черном, бесстрастно сказала:

– Хватит! Уже все места заняты.

– Их же – трое всего, – слабо возразила Анна в недоумении, недовольная зря потерянным временем и напрасной из-за этого тратой больше душевных сил. – Подождать, что ль? Я бы поместилась рядышком, сударыня... Есть где. Посмотрите, пожалуйста...

– Я сказала, кажется, ясно: хватит! – вновь одернула Анну жрица, оскорбленная, должно быть, неуместно сделанным ей замечанием. – Тут без вас мы сами знаем все! Не самовольничать!

И вроде то определено, верно понимай, а именно: места заняты, распределение окончено, ропщите – не ропщите; просто не досталось Анне уготованное место в печке, только и всего, какой пустяк. Как, скажем, прежде, сколько-то лет назад, ей не каждый раз везло – и не доставался килограмм того же сахара, завозимого в магазины города нерегулярно, с частыми перебоями, хотя она, как положено, и отстаивала за ними подолгу – часами – сумасшедшие длинные змееобразные очереди.

Анна было с досадой удивилась здешним выкрутасам – что они и здесь у людей возводятся в принцип, бытуют также; но она сейчас же обрадовалась, что освободилась так негаданно от чего-то тяжелого, что ее давило, и что снова она выйдет на привольный свет. От сердца тотчас отлегло.

Но вот она опять увидела, как вынырнувшая из-под ее руки и пропущенная почему-то без задержки молодайка вместе со своим выводком, не замедлив шага, вступила в темноватую пропасть печи и смело и решительно легла прямо в пальто и ботинках на мягкую зеленолиственную подстилку, примяв ее, а рядом с нею, по обе стороны, легли тоже в верхней одежке девочки, легли, трогательно прижимая к груди драгоценный хлебушек. Лежа, девочки поглощено-весело заговаривали с матерью. Задержавшись вблизи этой печи помимо своей воли, Анна отчетливо видела, что особенно весело щебетала малая – неразумная пташка. Она словно играла в свою детскую игру с теремком, забавлялась: ангельски светило в призрачном свете ее живое хрупко-нежное личико с золотистыми, точно нарисованными, кудряшками, выбивавшимися из-под старенькой вязаной шапочки с красной кисточкой. Знали ль они, детушки, о том, что ожидало их? Знала ль мать, отдавая их на верную, неоправданную муку? Однако выражение лица лежащей молодайки было значительным, серьезным и спокойным вместе с тем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.